

Убийственное лето

Автор:

Себастьян Жапризо

Убийственное лето

Себастьян Жапризо

Себастьян Жапризо – блестящий мастер психологического детектива. Его произведения захватывают читателя не столько описанием кровавых преступлений, сколько великолепно разработанным сюжетом и неизменным присутствием тайны, разгадка которой всегда поражает читателя своей непредсказуемостью.

Роман «Убийственное лето», публикуемый в новом переводе, автор построил на роковом стечении обстоятельств, которые обрушиваются на главную героиню, пытающуюся разгадать тайну своего рождения.

Себастьян Жапризо

Убийственное лето

“L’ete meurtrier” by Sebastien Japrisot

© Editions DENOEL, 1977

Published by arrangement with SAS Lester

Literary Agency & Associates

Перевод с французского Марианны Таймановой

© Лимбус Пресс, 2020

© А. Веселов, оформление, 2021

* * *

И судью, и присяжных я сам заменяю,

Хитрый пес объявил,

А тебя я казню.

Льюис Кэрролл. Алиса в Стране чудес[1 - В переводе В. Сирина (В. В. Набокова)
название книги звучало как «Аня в Стране чудес». Берлин: Издательство
«Гамаюн», 1923.(Здесь и далее прим. переводчика)]

(Пер. В. Сирина /В. В. Набокова)

Палач

Я согласился.

Вообще-то я всегда легко соглашаюсь. Во всяком случае, с Эль. Однажды я
влепил ей пощечину, в другой раз побил. Зато потом всегда соглашался. Я плохо
понимаю, о чем сейчас рассказываю. Ведь разговаривать я могу только со
своими братьями, особенно с младшим, с Мишелем. Его все называют Микки. Он
возит лес на своем стареньком «рено». Гоняет на дикой скорости, он вообще
безголовый, глупый, как бревно.

Как-то я наблюдал, как он спускается в долину по нашей дороге вдоль реки. Дорога дико крутая, поворот на повороте, и узкая – двум машинам не разминуться. Я глядел на него сверху, оттуда, где растут сосны, и дорога просматривается на много километров вперед: желтая машинка то исчезала, то появлялась на новом вираже, я даже слышал, как тарахтит мотор и перекачивается груз в кузове. Он попросил меня покрасить ее в желтый цвет, когда Эдди Меркс[2 - Меркс Эдуард (Эдди) (р. 1945) – бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик, пятикратный победитель «Тур де Франс», трехкратный чемпион мира.] в четвертый раз выиграл «Тур де Франс»[3 - «Тур де Франс» – самая известная многодневная шоссейная велогонка, которую проводят во Франции более ста лет.]. Это было условием пари. У него Эдди Меркс – через каждое слово. Не знаю, в кого он уродился таким дурнем.

Наш отец считал самым великим Фаусто Коппи[4 - Коппи Фаусто – крупнейший итальянский велогонщик конца 1940-х гг. Одержал победу в 118 профессиональных и 20 любительских велогонках, два раза побеждал в «Тур де Франс».]. Когда Коппи умер, отец в знак траура даже отпустил усы. Целый день он молча просидел на заснеженном дворе, на пне срубленной старой акации, курил свои самокрутки из папиросной бумаги Job[5 - Папиросная бумага Job – популярный бренд тонкой рисовой бумаги для сигарет, которую с 1838 г. производили в Перпиньяне в виде буклетов. Известность бумаге Job принесли рекламные плакаты, выполненные художником Альфонсом Мухой (1860–1939).], которые набивал табаком американского производства. Он подбирал бычки, но только американские, и крутил себе невиданные сигареты. Да, наш отец был не такой, как все. Говорят, он пришел сюда пешком с юга Италии и всю дорогу таскал за собой на веревке механическое пианино. Делал остановки на городских площадях, чтобы народ мог потанцевать. Собирался податься в Америку, как все итальянцы. Но в конце концов остался здесь, на билет так и не накопил. Женился на нашей матери, ее девичья фамилия Дерамо, она из Динья[6 - Динь-ле-Бен – город в Провансе, бальнеологический курорт. Население – 17,6 тыс. жителей.]. Мать работала гладильщицей, он за гроши батрачил на фермах, ну а в Америку, известное дело, пешком не дойдешь.

А потом к нам переехала сестра моей матери. Глухая как пень – оглохла после бомбежки Марселя в мае 1944-го и спит теперь с открытыми глазами. Сидит по вечерам в своем кресле, и ни за что не угадаешь, дремлет она или бодрствует. Отец стал звать ее Коньята, то бишь «свояченица», так и пошло, только мать зовет ее Нина. Ей шестьдесят восемь, на двенадцать лет старше матери, но ничего не делает, только сидит в своем кресле, потому из них двоих мать выглядит старше. Встает она из него, только чтобы пойти на похороны.

Похоронила мужа, брата, мать, своего отца и нашего в придачу, когда он умер в 1964-м. Мать говорит, что ее сестрица еще всех нас похоронит.

Механическое пианино никуда не делось, так и стоит у нас в сарае. Оно годами мгло во дворе, под дождем все покоробилось и почернело. А теперь в нем завелись мыши. Я его протравил крысиным ядом, но результат нулевой. Там всюду проедены дырки. А по ночам, когда в него заползают мыши, раздается целая серенада. Оно все еще работает. Но только один валик, «Розы Пикардии». Мать говорит, что ничего другого оно все равно играть не может, зациклилось на этом. Она говорит, что однажды отец поволок его в город, хотел отдать под залог в ломбард. Но на него даже не посмотрели. К тому же дорога в город идет под гору, а вот притащить его обратно отец с его больным сердцем не смог. Пришлось раскошелиться и нанять грузовик. Да, нашему отцу в деловой хватке не откажешь.

В тот день, когда он умер, мать сказала, что пусть только подрастет наш брат Бу-Бу, и мы им всем покажем. Мы втроем притащим с собой пианино, встанем под окнами банка «Креди мюнисипаль» и весь день напролет будем крутить им «Розы Пикардии». Они там точно рехнутся. Но мы так и не собрались. Бу-Бу теперь семнадцать, это он велел мне в прошлом году перетащить пианино в сарай. А мне в ноябре стукнет тридцать один.

Когда я родился, мать хотела назвать меня Батистен, так звали ее брата, Батистена Дерамо, он утонул в канале, спасая кого-то. Мать всегда говорит: если видишь, что кто-то тонет, отвернись. Когда я вступил в добровольную пожарную охрану, она так рассвирепела и так пинала мою каску, что даже ногу себе покалечила. Во всяком случае, отец убедил ее назвать меня Фиоримондо. Так звали его брата, а тот, по крайней мере, умер в своей постели.

Фиоримондо Монтеччари – так меня зарегистрировали в мэрии и так написано в моих документах. Но тут началась война, Италия выступила против Франции, ну и в деревне мое имя не одобрили. Тогда меня стали называть Флоримон. Как бы то ни было, я всегда переживал из-за своего имени. В школе, в армии, да везде. Но Батистен – еще хуже. Я бы хотел, чтобы меня назвали Робер, я так часто говорю, когда спрашивают. Я и Эль так в первый раз сказал. Ну а кончилось все тем, что, когда я пошел в добровольный отряд пожарных, меня начали дразнить Пинг-Понгом[7 - Пинг-Понг – прозвище пожарного из популярного детского фильма.]. Даже мои братья. Однажды – единственный раз в жизни – я даже подрался из-за этого, говорят, дрался как сумасшедший. Вообще-то я не буйный,

я самый обычный. Но, если честно, там дело было в другом.

Честное слово, я не понимаю, о чем сейчас рассказываю, разговаривать я могу только с Микки. Ну и с Бу-Бу тоже, но он совсем другой. Он блондин, в общем, у него светлые волосы, а мы оба – брюнеты. Нас в школе дразнили макаронниками. Микки прямо приходил в бешенство и лез в драку. Я намного сильнее его, но, как я уже говорил, дрался я всего один раз в жизни. Сперва Микки играл в футбол. Выкладывался, как мог. Играл он и вправду классно, правый нападающий, кажется, я в этом не смыслю, забивал мячи головой. Всегда был в самой гуще, прямо у ворот, будь то команда муниципалитета Барема или почтовиков Каstellана, и вот, откуда ни возьмись, появляется его голова, удар по мячу, гол! Потом все кидаются обнимать Микки, точно, как по телику. Обхватят руками, целуют, бросают в воздух, меня и то мутило, хотя я сидел за ограждением, далеко от него. Но выкладывался он на все сто. С поля его удаляли три воскресенья подряд. Ударят по ноге, скажут что-то обидное, да мало ли что – он сразу же в драку и всегда пускает в ход голову. Ухватится за майку и со всего размаха бьет головой – те сразу же падают как подкошенные и изображают травму. Ну и кого тогда судья удаляет с поля? Конечно, Микки. Дурак, каких повидать мало. Сам он восхищался Мариусом Трезором[8 - Трезор Мариус (1950) – футболист, защитник, выступал за сборную Франции.]. Утверждает, что это самый великий футболист. Эдди Меркс и Мариус Трезор, если его завести, может говорить о них хоть до утра.

А потом бросил футбол ради велосипеда. Получил лицензию на право участвовать в гонках, и все дела. Этим летом даже выиграл соревнование в Дине. Мы ездили туда с Эль и Бу-Бу, но это уже другая история. Ему скоро двадцать пять. Говорят, он мог бы и здесь стать профессионалом и чего-то добиться. Сам я в этом плохо разбираюсь. Он ведь никогда не мог справиться с двойным сцеплением[9 - Принцип двойного сцепления – переключение автомобильной передачи под нагрузкой, то есть, когда обороты двигателя практически не сбрасывались, разработал в 1939 г. Адольф Кегресс. Этот прием стали использовать на гоночных треках, на отдельных машинах. Только в 1980 г. компания Porsche применила этот принцип на своих моделях.]. Не знаю, как его грузовичок «рено» еще ходит, пусть даже перекрашенный в желтый цвет. Я проверяю мотор каждые две недели, не хочу, чтобы он потерял работу, а когда ему говорю, чтобы он был поосторожнее и не гонял как сумасшедший, он так послушно кивает, что хоть плачь от умиления, но на самом деле ему на все наплевать. Он всегда был такой, с самого детства, – у нас с ним разница почти в пять лет, – сколько раз он глотал жвачку, и ничего, а все считали, что он от этого непременно загнетса. Но все-таки с ним можно поговорить. Мне даже не

нужно что-то придумывать, мы ведь знаем друг друга тысячу лет.

А Бу-Бу только пошел в школу, когда я уже служил в армии. У него была та же училка, что и у нас, мадам Дюбар, она теперь на пенсии. Он каждый день ходил по той же дороге, что и мы, – три километра в гору, подъем почти по прямой – только на пятнадцать лет позже. Из нас троих он самый умный. Уже сдал экзамены и перешел в выпускной класс. Хочет быть врачом. В этом году ходит в коллеж в городе. Микки отвозит его каждое утро, а вечером забирает. На следующий год он поедет учиться в Ниццу или в Марсель, или куда-нибудь еще. В общем-то, он уже не с нами. Все больше отмалчивается, стоит выпрямившись, расправив плечи, руки в карманах. Мать говорит, что так он похож на вешалку. У него длинные волосы и ресницы, как у девчонки, мы с Микки его дразним. Но он никогда на нас не злится. Может быть, всего один раз, из-за Эль.

Это было в воскресенье, мы все сидели за столом. Он произнес одну фразу, всего одну, и Эль встала, поднялась в нашу комнату и допоздна так и не вышла. А вечером сказала мне, что я должен поговорить с Бу-Бу, должен ее защитить, и все такое. Я и поговорил с Бу-Бу. На лестнице в погреб, я там складывал пустые бутылки. Он не произнес ни слова, не взглянул на меня и заплакал, тогда я понял, что он еще совсем ребенок. Я хотел положить ему руку на плечо, но он вырвался и ушел. Он собирался пойти со мной в мастерскую посмотреть на мою «делайе»[10 - «Делайе» (Delahaye) – французская автомобильная компания машин класса «люкс», основанная Э. Делайе в 1894 г. и просуществовавшая до 1954 г.], но вместо этого отправился в кино или куда-то на танцы.

У меня есть настоящая «делайе» с кожаными сиденьями, но она не на ходу. Я выменял ее на автомобильной свалке на ржавый фургон, за который отдал двести франков[11 - По курсу 1975 г. 200 франков соответствовали примерно 50 долларам.] одному продавцу рыбы на рынке, а потом мы с ним их же и пропили. Я поменял мотор, коробку передач, короче, почти всю начинку. Не знаю, в чем там загвоздка. Когда мне кажется, что все готово и я выкатываю ее из мастерской, где работаю, вся деревня сбегается поглазеть, как моя машина даст дуба. И она дает. Глохнет, и из нее начинает валить дым. Деревенские говорят, что впору создавать комитет по борьбе с загрязнением воздуха. Мой шеф просто звереет. Орет, будто я краду у него запчасти, торчу в мастерской по ночам и только зря расходую электричество. Правда, иногда он мне помогает. Но все без толку. Один раз я сумел проехать по всей деревне, из конца в конец и обратно, и только тогда она заглохла. Это был мой личный рекорд. Когда из нее повалил дым, никто даже не засмеялся, я их всех уделал.

Туда-обратно от мастерской до дома – это тысяча сто метров, Микки проверил по спидометру на своем грузовичке. Но если «делайе» 1950 года выпуска, которая вообще не выносит новые прокладки блока цилиндра, сумела пройти больше километра, то она еще себя покажет. Я так сразу сказал и был прав. Три дня назад, в пятницу, она себя показала.

Три дня.

Не могу поверить, что в часах одинаковое количество минут. Я уехал, я вернулся. Но мне показалось, что я прожил целую жизнь, а пока меня здесь не было – время вообще остановилось. Вчера вечером, когда я приехал в город, больше всего меня потрясло, что у кинотеатра висела та же самая афиша. Я видел ее на этой неделе по пути из казармы, но даже не остановился посмотреть, какой идет фильм. А вчера вечером перед антрактом они не стали выключать освещение. Я ждал Микки в кафе напротив – на улочке за старым рынком. Ни разу в жизни я так долго не разглядывал ни одной афиши. Но описать ее все равно бы не смог. Знаю, конечно, что это Джерри Льюис[12 - Джерри Льюис (1926–2017) – американский актер, режиссер и писатель.], но даже названия фильма не помню. Кажется, я тогда думал о своем чемодане. Не мог взять в толк, куда он задевался. Кстати, Эль я тоже увидел в кино задолго до того, как с ней заговорил. Вообще-то я всегда торчу по субботам на вечернем сеансе, слежу, чтобы молодежь не курила. Мне это нравится, потому что можно смотреть фильмы. А не нравится, потому что меня дразнят Пинг-Понгом.

Эль на самом деле зовут Элиана, но ее всегда называют Эль[13 - Игра слов: Эль (сокращенное от Элиана) звучит так же, как местоимение «она» (фр. elle).] или Вот-та. Она переехала сюда прошлой зимой с отцом и матерью из Арама, деревни по ту сторону перевала, которую затопили, когда построили плотину. Отца привезли на «скорой помощи» следом за мебелью. Раньше он был дорожным рабочим. Никто вообще о нем никогда не слышал, пока его не прихватило четыре года назад прямо в котловане, он свалился туда, в грязную воду, и расшиб голову. Говорят, когда его принесли домой, он был весь покрыт глиной с налипшими на нее прелыми листьями. С тех пор у него парализованы ноги – наверное, что-то с позвоночником, я в этом не разбираюсь, но он все время на всех орет. Сам я его ни разу не видел, он всегда сидит в своей комнате, но слышал, как он орет. Он тоже не называет ее Элианой, а кричит: «Мерзавка!» И еще кое-что – почище.

Мать у нее немка. Отец с ней познакомился во время войны, когда его отправили в Германию отбывать трудовую повинность. Она там заряжала пушки. Я не шучу. В 1945-м при бомбардировках привлекали девушек. Я даже видел ее фотографию: в косынке и в сапогах. Немногословная. В деревне ее не любят и прозвали Ева Браун. Ну, я-то, само собой, знаю ее ближе – человек она добрый. Вообще-то она так и говорит в свое оправдание: «Я добрый человек». С акцентом, как у всех бошей. Она так и не поняла ни слова из того, что ей говорят, и в этом все дело. Ей было семнадцать, когда ее обрюхатил один француз, и она, с горя, поехала за ним. Ребенок родился мертвым, и все, что ее ждало в нашей прекрасной стране, – это зарплата дорожного рабочего, насмешки и издевки за спиной, а через несколько лет, точнее 10 июля 1956 года, девчушка, в той самой колыбельке, которая так долго простояла пустой. Я против нее ничего не имею. Даже наша мать против нее ничего не имеет. Как-то раз я решил узнать все как есть. Хотел выяснить, кто такая Ева Браун. Сперва спросил Бу-Бу. Он не знал. Тогда спросил Брошара, хозяина кафе. Он из тех, кто зовет ее Евой Браун. Он тоже не знал. Объяснил парень с автосвалки, тот самый, что сбаврил мне «делайе». Факты – упрямая вещь. Теперь, когда я о ней говорю, мне тоже иногда случается сказануть: «Ева Браун».

В кино я часто видел их вместе – мать и Эль. Они всегда садились во второй ряд, якобы чтобы лучше видеть, но денег-то у них не водилось, поэтому все понимали, что из экономии. В конце концов я узнал правду: Эль ни за что не хотела носить очки, а на местах за десять франков она бы просто ничего не увидела.

Я простоял весь сеанс в каске, прислонившись к стене. В антракте я на нее посмотрел. Как и все, я считал, что она красивая, но с тех пор, как она поселилась в нашей деревне, сна я из-за нее не терял. Во всяком случае, Эль не говорила мне ни здрасьте, ни до свидания, наверное, вообще не ведала о моем существовании. Как-то раз она купила свое эскимо и прошла совсем рядом, но посмотрела только на мою каску. На меня даже не взглянула. Только на каску. Я ее снял. А потом не знал, куда деть. Отдал на хранение кассирше.

Тут я должен кое-что объяснить. Я сейчас говорю о начале июня, о том, что было три месяца назад. Говорю, как все случилось на самом деле. Хочу сказать, что до июня Эль, конечно, меня как-то впечатляла, но глубоко не трогала. Она могла бы так же спокойно уехать из деревни, как приехала, я бы даже не заметил ее отсутствия. Увидел, что глаза у нее голубые или серо-голубые и большущие, и мне стало неловко за свою каску. Только и всего. Короче, хочу сказать, что не

знаю почему, но до июня все было совсем иначе.

Эль всегда выходила в антракте на улицу, чтобы съесть эскимо. Вокруг собирались люди, в основном парни, о чем-то трепались. Я думал, что ей больше двадцати, потому что вела она себя, как взрослая женщина, но я ошибся. Вот, например, когда она возвращалась на свое место и шла по центральному проходу, то прекрасно знала, что все на нее глаза: мужчины, кто смотрит на нее спереди, гадают, есть ли на ней лифчик, а кто сзади – надеты ли на ней трусы под юбкой в обтяжку. Эль всегда ходит в узких юбках – ноги открыты до полбедра, а все остальное так обтянуто, что линия трусов, если они имеются, точно должна проступать сквозь ткань. Я тогда ничем не отличался от остальных. Что бы она ни делала, даже если не думать ни о чем дурном, все равно их заводило.

А еще она без конца смеялась – очень громко и заливисто, причем явно нарочно, чтобы обратить на себя внимание. Или вдруг трясла копной темных – по самый пояс – волос, и они блестели в электрическом свете. Считала себя звездой. Прошлым летом, год назад, она выиграла конкурс красоты на празднике в Сент-Этьен-де-Тине – в купальнике и на высоких каблуках. Там соревновались четырнадцать девиц, в основном отдыхающие. Ее выбрали «Мисс Кемпинг», она хранит кубок и все фотографии. И после этого возомнила себя звездой.

Однажды Бу-Бу сказал ей, что она звезда деревни в сто сорок три жителя – столько человек у нас числится по последней переписи населения – и что она парит над землей на высоте нашего перевала – тысяча двести шесть метров, – но в Париже или даже в Ницце ей выше тротуара не взлететь. Это та самая знаменитая фраза, которую он произнес за столом в воскресенье. Он имел в виду, что в Париже ей не выиграть, там тысячи красивых девчонок, и слово «тротуар» произнес вовсе не для того, чтобы ее обидеть. Как бы то ни было, она ушла в нашу комнату, хлопнула дверью и просидела там до вечера. А вечером я ей объяснил, что она все неверно поняла. Но, увы, если ей что-то втемяшится в голову, права она или нет, ничего другого слушать уже не желает.

С Микки она ладила лучше. Он шутник, у него всегда глаза смеются, поэтому вокруг разбегается куча мелких морщинок. И к тому же женщина его жизни – это Мэрилин Монро. Если вскрыть ему черепушку, не знаю, кто там у него припрятан внутри – Мэрилин Монро, Мариус Трезор или Эдди Меркс. Он говорит, что Мэрилин – самая великая и второй такой не будет. По крайней мере, у них с Эль была хотя бы одна общая тема для разговора. Единственная фотография на

стене, которую она могла вынести, кроме собственных, – это на плакате с Мэрилин Монро.

Вообще-то в какой-то мере даже странно, она ведь была совсем маленькой, когда Мэрилин Монро умерла, и смотрела всего два ее фильма, и то гораздо позже, когда их крутили по телику: «Река не течет вспять» и «Ниагара». Ей больше нравится «Ниагара». Из-за плаща с капюшоном, в который Мэрилин одета перед падением. У нас нет цветного телевизора, и плащ казался белым, но это не точно. Микки смотрел в кинотеатре и говорит, что желтый. Да, все не так-то просто.

Как бы то ни было, Микки мужчина, его можно понять. Сам я от Мэрилин Монро с ума не сходил, но его понимаю. К тому же он пересмотрел все ее фильмы. Знаете, что мне ответила Эль? Во-первых, что ее интересуют не фильмы с Монро, а сама Мэрилин, ее жизнь. Она прочитала одну книгу. Показала ее мне. Перечитывала десятки раз. Это единственная книга, которую она вообще читала. Во-вторых, сказала, что пусть она и не мужчина, что и без того очевидно, но будь Мэрилин жива, будь такое возможно, ей лично не потребовалось бы много усилий, чтобы ее трахнуть. Так прямо и говорила, слово в слово. Вообще-то важнее не что, а как она говорила. Однажды летом Бу-Бу объяснил мне, что нужно держаться подальше от людей с ограниченным запасом слов, чаще всего они-то как раз и любят все усложнять. Мы с ним работали на винограднике, который купили на пару с Микки на холме, выше нашего дома. Он мне сказал, что я не должен доверять тому, как Эль говорит. Иногда, но не каждый раз, стараясь скрыть свои добрые чувства, она все равно использует те же самые слова, которыми говорят о чувствах дурных. Я выключил опрыскиватель и ответил ему, что он-то может выучить наизусть весь словарь, но все будет без толку, все равно сморозит очередную глупость. Хоть Бу-Бу у нас и всезнайка, но тут он ошибался.

Однако до меня дошло то, что он хотел сказать: Эль взволновало, что Мэрилин Монро умерла одна в пустом доме, и ей бы хотелось быть с ней рядом, выразить свое восхищение или что-то еще, чтобы помешать покончить с собой. Нет, он был не прав. Эль обычно говорила что-то одно за раз – то, что ей в ту минуту приходило в голову, но могла сказать сильно, словно обухом по голове. Этим она вообще отличалась: ей незачем было вдумываться и подбирать слова, вкладывать в них какие-то намеки, она достигала цели сразу. Ну а что касается ее словарного запаса, она не только ничего не слушала вокруг, но и в школе дважды оставалась на второй год во втором классе, пока наконец они сами не

выдержали – не захотели больше с ней возиться. Так вот, а сказать ей особо было нечего, разве что она голодна, ей холодно или посреди фильма хочется пойти пописать – об этом она оповещала сразу три ближайших ряда. Моя мать как-то сказала ей, что она ведет себя как животное. Эль удивилась и ответила:

– Не больше, чем все остальные.

А если бы ее назвали человеком, она бы резко дернула левым плечом и промолчала, потому что не поняла бы, и вообще она никогда не отвечала, когда на нее повышали голос.

Скажем, помешать Мэрилин Монро покончить собой, какой был для нее в этом смысл? Ведь Эль всегда твердила, что Мэрилин умерла потрясаяще, наглоталась таблеток, а на завтра – куча ее фотографий, и она навсегда осталась Мэрилин Монро... Она сказала, что хотела бы поближе познакомиться с ее бывшими мужьями, хотя двое из трех не в ее вкусе. Она сказала, что обидно, что тот самый желтый дождевик валяется где-то в шкафу, если его вообще не сожгли, а она гоняла как угорелая по всей Ницце, но так и не смогла найти такой же. Вот слово в слово. Бу-Бу, садись, двойка.

Я кипячусь, но, по сути, мне на это наплевать. Все теперь стало, как раньше, до июня. Когда я видел ее в кино, еще до июня, я даже не думал о том, как Эль с матерью добираются обратно в деревню. Вы же знаете, как обычно в маленьких городках: через тридцать секунд после конца сеанса двери запирают, свет тушат, и вокруг ни души. Я возвращался вместе с Микки в его грузовике, но вел я, я психую, когда он за рулем. Обычно с нами еще ездил Бу-Бу, и по дороге мы подбирали кучу ребят, они забирались в кузов со своими мопедами и прочим скарбом.

Как-то мы посчитали: туда влезли почти все местные и ехали от самого города до перевала. Одиннадцать километров. Я их высаживал по очереди, одного за другим, при свете фар возле темных дорожек перед спящими домами. Если чья-то подружка должна была ехать дальше, приходилось их поторапливать – им все никак было не расстаться. А Микки говорил: «Да не трогай ты их». Когда приехали в деревню, в кузове уже было настоящее сонное царство. Я не стал будить ни Микки, ни Бу-Бу, сам вышел с фонариком. Ребята сидели в кузове друг за другом, прислонившись к борту грузовика, положив голову на плечо соседа.

Сам не знаю почему, я подумал о войне, наверное, из-за фонаря в руках, должно быть, видел такое в кино, и в то же время почувствовал себя счастливым. Они выглядели именно так, какими и были на самом деле – крепко спящими детьми. Я потушил фонарь и не стал их будить.

Пошел и сел на ступени мэрии. Смотрел на небо над деревней. Я не курю, чтобы не было проблем с дыханием, но в тот момент мне очень хотелось затянуться. По средам я хожу на тренировки в казарму. Я у них старшина и заставляю выкладываться по полной. Раньше я курил «Житан»[14 - «Житан» – одни из самых популярных и дешевых марок французских сигарет из черного табака и особой рисовой бумаги, которые славятся своей крепостью.]. Отец говорил, что я жмот. Он бы предпочел, чтобы я курил американские, а ему отдавал бычки.

Как бы то ни было, мимо проехал сын покойного Массиня на своем фургончике и посигналил фарами, потому что не понял, с какой стати здесь стоит «рено» Микки, а я не понял, чего он приперся сюда среди ночи, если живет в Панье, в трех километрах ниже. Я махнул рукой, чтобы показать, что все нормально и он может не останавливаться. Тогда он доехал до конца деревни – я все время слышал шум его мотора – и вернулся. Поставил машину в нескольких метрах от меня и вышел. Я ему сказал, что пацаны там в кузове все заснули. Он сказал: «А, понятно» – и тоже присел на ступеньку.

Это было в конце апреля или в начале мая, погода стояла еще прохладная, но приятная. Его зовут Жорж. Он ровесник Микки, они вместе служили в армии, в части альпийских стрелков[15 - Альпийские стрелки (егери) – солдаты, специально обученные военным действиям в горных условиях. Эти отдельные альпийские части были впервые созданы в 1793 г. по требованию Конвента. Во Франции в конце 1960-х гг. насчитывалось несколько таких частей.]. Я знаю его всю жизнь. Родители отдали ему свою ферму, он здорово там управляется, у него на нашем красноземе растет все, что ни посади. С ним-то я подрался этим летом. Вообще-то зря, он был совершенно ни при чем, этот Жорж Массинь. Я выбил ему два передних зуба, но он не пошел жаловаться на меня в полицию. Сказал, что я потихоньку схожу с ума, и точка.

Мы сидели с ним вдвоем на ступеньках мэрии, и он ответил на мой вопрос – он провожал дочку Евы Браун. Мне показалось, что эти проводы длились слишком долго. Я засмеялся. Не могу сейчас рассказать об этом так, как рассказывал бы тогда, это невозможно, но нужно понять, что тогда я мог смеяться, что мы спокойно обсуждали то, что обсуждают между собой мужчины, я уже собирался

идти будить ребят, и вообще, если бы он мне тогда сказал, что трахнул не дочь, а мать, мне было бы совершенно без разницы.

Я спросил, переспал ли он с Эль. Он сказал, что сегодня нет, но случилось у него в фургоне на брезенте два или три раза этой зимой, когда мать не ходила в кино. Я спросил, ну и как она, и он описал во всех подробностях. Он ее ни разу полностью не раздевал, было слишком холодно, только поднимал юбку и свитер, но кое-что рассказал. Ну и черт с ним.

Когда мы подошли к грузовику, они там еще все спали, ну точно – детки-паиньки, склонившись все как один на одну сторону, как колосья в поле. Я губами протрубил «Подъем!», и они спустились друг за дружкой, еще полусонные, забывали забрать свой мопед, возвращались, даже не поблагодарив и не попрощавшись, одна только дочка хозяина кафе Брошара прошептала: «Спокойной ночи, Пинг-Понг» – и побрела домой нетвердой походкой, так и не проснувшись. Мы с Жоржем посмеялись над ними: «Умаялись, бунтари...» Наши слова среди ночи звучали гулко, как в соборе. И в конце концов мы разбудили Микки. Он высунул из кабины свою всклокоченную голову и изругал нас на чем свет стоит.

А потом мы сидели с ним вдвоем на кухне, я, конечно, имею в виду Микки, выпили по стаканчику, прежде чем идти спать, и я рассказал ему то, что услышал от Жоржа. Он мне ответил, что на свете много таких брехунов: выставляют себя половыми гигантами, а у самих член, как у суслика. Я сказал, что Жорж вовсе не брехун. А он сказал, что как раз наоборот. Его эта история интересовала еще меньше, чем меня, он думал о чем-то своем, пока допивал вино. Когда Микки о чем-то размышляет, просто туши свет, кажется, что он сейчас додумается до того, как превратить соленую воду в пресную; он так напрягается и морщит лоб, что иначе, видно, мысли не приходят. В конце концов он несколько раз с серьезным видом покачал головой и знаете, что сказал? Сказал, что марсельская команда «Олимпик» выиграет кубок, в любом случае, даже если Мариус Трезор восстановит форму только наполовину.

На следующий день, а может, в следующее воскресенье, Тессари, тоже автомеханик, как и я, заговорил со мной про Эль. Мы с Микки спустились утром в город сделать ставки на бегах в бистро. Мы вдвоем ставим двадцать франков плюс пять франков за Коньяту. Она говорит, что хочет играть отдельно. Всегда ставит на те же номера: 1, 2 и 3. Говорит, если повезет, так повезет и так, без

всяких выкрутасов. Мы в семье три раза выигрывали на скачках, и каждый раз – Коньята. Два раза по тысяче франков, а один раз семь тысяч. Она немного дала матери, ровно столько, чтобы вывести ее из себя, а остальное забрала себе – новенькими купюрами по пятьсот. Сказала: «На всякий пожарный...» – правда, не уточнила на какой. Мы даже не знаем, где она их прячет. Однажды мы с Микки перевернули к черту весь дом, включая сарай, куда Коньята обычно носа не кажет, – не для того, чтобы их свистнуть, а просто чтобы ее разыграть, – но так ничего и не нашли.

Во всяком случае, в воскресенье, когда у меня уже лежали в кармане билеты, Тессари или кто-то другой купил мне аперитив у стойки, потом я угостил его, сыграли три раза в 421[16 - 421 – популярная во Франции игра, в которую играют за стойкой бара вдвоем или втроем, используя три игральных кубика и 21 жетон. Проигравший покупает выпивку остальным игрокам.], но и на этом дело не кончилось. В тот день мы с Тессари стали обсуждать мою «делайе». Я ему говорил, что выну из нее мотор и переберу по новой, а он ткнул меня локтем, чтобы я посмотрел, кто зашел в бистро. Это была Эль, пришла поставить пять франков за своего парализованного отца – черные волосы собраны в высокий шиньон, – положила велосипед на тротуар и встала в длинную очередь.

Ярко светило солнце, на ней было нейлоновое небесно-голубое платье, такое прозрачное, что, если смотреть на свет, Эль казалась почти голой. Ни на кого не глядя, ждала, переминаясь с ноги на ногу, под материей угадывались ее налитые груди, округлость бедер, а иногда, когда она шевелилась, даже проступала набухлость в ложбинке между ног. Я хотел что-то сказать Тессари, шутки ради, например, что в купальнике можно увидеть куда больше и что все мы здесь – скоты, потому что у стойки были и другие парни, и все как один повернули голову в ее сторону, но две или три минуты, пока она была в баре, все молчали. Она пробила свой билет и снова на секунду показалась голой в дверях, потом подняла велосипед с тротуара и уехала.

Я сказал Тессари, что с радостью бы с ней переспал, и заказал еще рюмку пастиса[17 - Пастис – напиток на основе аниса и лакрицы, особенно популярный на юге Франции. Считается, что этот аперитив увеличивает аппетит и помогает пищеварению. Согласно традиции, пастис никогда не пьют в чистом виде. Его разводят ледяной водой в пропорции один к пяти или один к семи.]. Тессари ответил, что в принципе это не трудно, он знает многих, кто с ней спал. Он сказал, что это, само собой, Жорж Массинь, который подвозил ее домой с вечернего сеанса в субботу, но еще аптекарь из города, у которого жена и трое

детей, а прошлым летом – один отдыхающий и даже один португалец, который работал за перевалом. Он знает, что говорит, потому что этот отдыхающий как-то раз пригласил его племянника со всей компанией, и Эль там тоже была. Они все прилично набрались, и племянник видел, как она и этот турист этим занимались. Разве я не в курсе, как заканчиваются такие вечеринки – по парочке в каждой комнате. Его племянник еще сказал, что волноваться за нее не нужно, она отсасывает с заглотом.

Я сказал Тессари, что не понимаю, что значит «отсасывает с заглотом», а он сказал, что нарисует схему, чтобы было понятнее. Два парня, которые сидели рядом и слушали, о чем мы говорим, начали ржать. Я тоже засмеялся, чтобы как все. Расплатился, сказал «Чао!» и ушел. Всю дорогу, пока вел «рено», думал только об этом: Эль с туристом, а племянник Тессари подглядывает, чем они занимаются.

Трудно объяснить. С одной стороны, мне еще больше ее захотелось. С другой, когда я увидел ее на пороге бара, почти голую, открытую всем взглядам, мне стало ее жалко. Ей это было невдомек, и как только она ушла со света в тень, стала похожа на девочку-паиньку в голубеньком платье, с прической, из-за которой казалась выше, и, не знаю почему, так она мне нравилась гораздо больше, но вовсе не потому, что мне ее хотелось. Теперь я ее презирал, убеждал себя, что переспать с ней будет нетрудно, что нечего церемониться, но в то же время мне было не по себе и вообще все осточертело. И кстати, не только она, а вообще все. Не знаю, как объяснить.

На следующей неделе я видел, как она много раз проезжала мимо мастерской. Она жила на самом краю деревни, в старом каменном доме, который Ева Браун обустроила, как могла, насажав повсюду цветочки. Обычно Эль ездила на велосипеде в булочную или возвращалась обратно. До этого я ее почти никогда не видел. Вовсе не потому, что она раньше меньше выходила из дома. Это как слова, на которые впервые обращаешь внимание в газете, а потом они попадают непрерывно, и ты всякий раз удивляешься. Я поднимал голову от машины, чтобы посмотреть на нее, но не набирался смелости махнуть рукой, ну а тем паче – завязать разговор. Думал о том, что рассказали мне Жорж и Тессари, ну а когда она проезжала на своем велике и ей не было дела ни до меня, ни до своих выставленных напоказ ляжек, то я, как придурок, смотрел ей вслед, пока было видно. Придурок, потому что мне от этого было больно. Однажды шеф заметил. Он сказал:

– Эй, очнись! Если бы ты мог прожигать взглядом, то давно спалил бы ей задницу.

Как-то вечером во дворе я говорил о ней с Микки. Я просто упомянул, так, между делом, что был бы не прочь попытаться счастья. Он ответил, что, по его мнению, мне лучше держаться подальше от таких девиц – если ей направо, то мне налево, она мне не годится. Мы из родника наливали воду в ведра. Мать потребовала, чтобы я провел в дом водопровод, ей без разницы – механик я или водопроводчик. В результате он все время ломается. Хорошо, что папаша перед смертью успел заделать Бу-Бу, он и прочищает трубы. Сыплет в них какой-то химикат, который их разъедает, как кислота, Бу-Бу говорит, что они скоро развалятся на кусочки, но какое-то время все опять работает. И тогда мы забываем о проблемах с водой.

Я ответил Микки, что позвал его вовсе не для того, чтобы он давал мне советы, а чтобы помог. Мы так и стояли у родника с полными ведрами тысячу лет, пока он думал, а у меня чуть руки не отвалились. Наконец он сказал, что если я хочу увидеть Эль, то лучше всего пойти в воскресенье на танцы, она всегда там бывает.

Он имел в виду сборный шатер под названием «Динь-дон», который ставят на неделю то в одном городке, то в другом, а молодежь ездит вслед за ним по окрестностям. При входе покупаешь билет, который нужно приколоть к груди, как номер у заключенных, а вот сидеть там не на чем, разноцветные прожекторы крутятся с дикой скоростью и слепят, а что касается уровня шума, то за десять франков больше такого нигде не найдешь. Даже Коньята слышит на таком расстоянии, а вот что на кухне из крана льется вода, ни за что не услышит.

Я сказал Микки, что если попрусь в такое заведение в свои «тридцать с хвостиком», то и выглядеть буду соответственно. Он ответил:

– Точно.

Я-то хотел сказать: как дурак, а он тут же добавил:

– Как пожарный.

Если бы у меня были свободны руки, я бы помог ему донести ведра или все, что потребуется: Микки явно противопоказано перетруждаться, это отражается на его умственных способностях. Я терпеливо объяснил, что я как раз и не хотел, чтобы она снова увидела меня в форме пожарного. Он сказал, что в таком случае я могу пойти в своей обычной одежде. Я сменил тему. Сказал, что посмотрю, но тогда он заявил, что в любом случае там должен дежурить пожарный, а потом в команде только и будет разговоров о старшем сержанте-бабнике.

У нас в бригаде, к счастью, никто никогда не хочет торчать в «Динь-доне». Во-первых, это воскресенье, дражайшая супруга не потерпит, к тому же дома будет ростбиф на ужин и можно посмотреть телек. Мы живем в хорошем месте, ловим все – и Швейцарию, и Италию, и Монте-Карло, можно посмотреть какой хочешь фильм – от Средневековья до наших дней. Во-вторых, если начинаются какие-то разборки, а они бывают всякий раз, когда какой-нибудь безусый сопляк строит из себя мачо, то тогда все уверены, что пожарный – это полиция. Как-то в воскресенье мне пришлось всеми правдами и неправдами вызывать туда ребят из казармы – вызволять одного из наших. Он попросил двух танцоров, которые не могли поделить партнершу, не раздирать друг другу рубашки. Если бы тогда жандармы нас не опередили, от него осталось бы мокрое место. Но все равно он потом три дня провалялся в больнице. Когда он вышел, мы скинулись ему на подарок.

На тренировке в среду перед танцами нас в казарме собралось с грехом пополам полдюжины. Я просто спросил, кто пойдет со мной дежурить в Блюмэ. Это большая деревня в пятнадцати километрах от нас, в горах, и «Динь-дон» должен был перебраться туда в следующее воскресенье. Никто не ответил. Мы пошли на футбольное поле рядом с казармой тренироваться в полном снаряжении. Мы говорим «казарма», на самом деле это бывший медный рудник. Таких много между городом и перевалом, их закрыли в 1914 году, слишком дорого обходились. В нашей казарме одни сорняки да бездомные кошки, но мы обустроили гараж на две машины, которые нам выделили, и раздевалку с душем. В раздевалке, пока мы переодевались, я сказал, что со мной пойдет Вердые. Он служит на почте, не трепло, и единственный, кроме меня, неженатый. К тому же ему это дело по душе, хочет выглядеть профессионалом. Он как-то доставил в больницу из-за перевала трехлетнюю девочку – она единственная уцелела в жуткой аварии – и рыдал во весь голос, когда узнал, что она выживет. С тех пор полюбил работу. Он, кстати, держит связь с этой девочкой, даже иногда посылает ей деньги. Говорит, что, когда ему стукнет тридцать пять, он ее по закону сможет удочерить. Мы над ним иногда подшучиваем, ему двадцать пять, через десять лет он уже сможет на ней

жениться. Он говорит, чтобы мы шли подальше.

Когда я думаю о том мае – и прежде всего о днях до «Динь-дона», – мне становится грустно. Зимы у нас жуткие, все дороги завалены снегом, но едва наступает хорошая погода, как сразу же лето. Темнеет позднее, и я оставался после работы и возился с «делайе». Или же чинил гоночные велосипеды Микки к началу сезона.

Обычно шеф тоже был в мастерской, всегда нужно что-то доделать, и тогда его жена Жюльетта обязательно приносила нам пастис. Они оба мои ровесники – с ней мы ходили в школу, но он уже совсем седой. Он родом из Баскских земель[18 - Баскские земли – территории традиционного расселения басков на границе Западной Франции и Северной Испании.], и лучшего игрока в шары я в своей жизни не встречал. Мы летом выступаем с ним в одной команде против отдыхающих. Когда случается какой-то несчастный случай или пожар, то даже среди ночи звонят в мастерскую, потому что у нас в деревне сирены не слышно, и он срочно сам везет меня в казарму. Говорит, что проклинает тот день, когда взял меня на работу, лучше бы ногу себе сломал.

Я по-прежнему провожал Эль глазами, когда она проходила мимо днем, а она по-прежнему меня не замечала, но у меня возникло такое чувство, что со мной случится что-то потрясающее, и не только, что я с ней пересплю. Это было похоже на волнение, которое я почувствовал перед смертью отца, но только ровным счетом наоборот, и это было приятно.

Да, я сожалею о том времени. Как-то я ушел из мастерской поздно вечером, но не домой, а под предлогом, что хочу проверить велосипед Микки, направился к перевалу. На самом деле я хотел проехать мимо дома Эль. Окна были открыты, в нижней комнате горел свет, но я был довольно далеко, и ничего не было видно, дом стоял в глубине двора. Я оставил велосипед неподалеку и прошел вдоль стены кладбища. Сзади дом практически примыкает к пастбищу, которым владеет Брошар, хозяин кафе, и дом отделен только колючей изгородью. Когда я подобрался ближе к окнам, то сразу увидел Эль, и меня прямо как стукнуло. Она сидела за обеденным столом под большой висячей лампой, к которой слетались ночные мотыльки, и читала журнал, опершись локтями на стол и накручивая прядь волос на пальцы. Я помню: на ней было белое платье в синий цветочек с воротничком-стоечкой и асимметричной застежкой. И это платье, и это ее выражение лица я узнал у нее позже, она казалась намного моложе и как-то беззащитнее, чем обычно, просто потому, что была без косметики.

Я так и стоял довольно долго по ту сторону изгороди, в нескольких метрах от нее. Даже не представляю, как я мог дышать. А потом ее отец закричал с верхнего этажа, что голоден, а мать ответила по-немецки. Я понял, что она тоже сидит в этой комнате, но мне ее не было видно. Я воспользовался тем, что этот debil заорал, и тихонько ушел. Ну а что касается Эль, ее папаша мог бы надрываться хоть всю ночь, она так и не отрывалась от своего журнала и разматывала и снова наматывала на пальцы одну и ту же прядь волос.

Когда я теперь это вспоминаю, мне самому смешно, до чего ж я был тогда глуп. Даже когда я был мальчишкой и втюрился, скажем, в Жюльетту – которая вышла замуж за моего шефа – и провожал ее из школы домой, мне никогда не приходило в голову спрятаться, не дыша, за забором и смотреть, как она читает журнал. Я, конечно, не буду хвастаться, что мог охмурить любую, но кое-какие приключения все же были. Не считая то время, когда я служил в морском пожарном батальоне[19 - Марсельский морской пожарный батальон – пожарно-спасательное подразделение Военно-морского флота Франции, полностью состоит из военного персонала.] в Марселе, мы тогда голову себе не ломали – шли вдвоем-втроем в увольнение на улицу Кур-Бельзанс[20 - Кур-Бельзанс – улица в Марселе, аналогичная кварталу «красных фонарей» в Амстердаме.] и выбирали одну на всех, чтобы скинула цену. Но до армии, и главное после, мне кажется, у меня было не меньше девушек, чем у других. Иногда это продолжалось месяц, иногда неделю. Или так, на ходу, где-нибудь на танцах в другой деревне. Перепихнешься в винограднике, потом говоришь ей, что еще увидимся, и привет.

Было время, я больше года встречался с дочкой зеленщика, Мартой, мы чуть не поженились, но она получила место учительницы возле Гренобля; мы сперва писали друг другу часто, а потом все реже и реже. Она блондинка и, наверное, даже красивее, чем Эль, – другого типа – и очень славная. Во всяком случае, я совсем потерял ее из виду, скорее всего, она уже вышла замуж. Я иногда вижу ее отца, он на меня зол и со мной не разговаривает.

Уже в этом году, в марте и апреле, как раз до Эль, я встречался с Луизой Лубе, кассиршей из кинотеатра. Ее называют Лулу-Лу, она носит очки, но тело у нее потрясное. Только мужики могут это понять. Она высокая и на лицо симпатичная, но не больше – это когда одета, но стоит ей раздеться, и не знаешь, за что сперва хвататься. Но муж ей попался вредный – он владелец автомастерской, где работает Тессари, – стал нас подозревать, и пришлось разбежаться. Она ни за что не хочет уходить из кинотеатра, хотя мастерская у

них очень даже прибыльная, просто чтобы три вечера в неделю он к ней не приставал со своими телячьими нежностями. Ей двадцать восемь, и есть голова на плечах. Она за него вышла ради денег и этого не скрывает, но говорит, что из-за его вывертов – сегодня-совсем-не-могу, а завтра – сегодня-делай-мне-все-все-все – кончится это тем, что его хватит кондрашка.

После сеанса Лулу-Лу закрывала решетки на окнах и дверях кинотеатра, киномеханик отказывался, ему это якобы запрещает профсоюз, а директор давно уже дрыхнет, забрав выручку за день. Так вот, она запирала решетки, выключала все лампы, кроме подсветки сцены, чтобы мы хотя бы нашли друг друга в темноте, а я тем временем, чтобы удостовериться, что наша интрижка не попадет в завтрашние газеты, осматривал здание снаружи, а она потом пускала меня внутрь. Обычно когда она открывала мне дверь, то была уже наполовину раздета – успевала скинуть одежду по дороге. Много времени на любовные охи да ахи у нас не оставалось. Мы трахались в зрительном зале, а что делать – кабинет директора и будка киномеханика были заперты на ключ. Мы устраивались в центральном проходе, где постелен ковер, и в первый раз, сам не знаю почему – то ли из-за ее потрясающего, куда ни коснись, тела, то ли из-за шеренг обступивших нас кресел и высоченного потолка, то ли из-за нас самих – таких нелепых в этой огромной пустоте, где эхом отдается каждый шорох, – но тогда у меня ничего не вышло.

Потом мы стали встречаться вечерами по средам – в среду у них один сеанс, я заходил к ней в кассу по дороге из казармы, поддержать компанию. Ну и, конечно, заглядывал по субботам. В субботу вечером Микки ждал меня в своем грузовике у выезда из города. У него тоже есть подружка – сослуживица Вердые, работает на почте, и, когда я приходил, они с Микки прощались. Несколько раз я возвращался один на велосипеде, последние километры так круто идут в гору, что приходилось тащиться пешком; губы горели, вокруг ни души, и холод собачий, а мне было хорошо.

В конце концов муж повадился встречать Лулу-Лу с работы, когда она запирала решетки, ну и пришлось нам расстаться. В тот вечер, когда я оставил у нее на хранение свою каску, она сунула в нее, за кожаный амортизатор, записку, которую я нашел на следующий день. Она написала: «Ничего хорошего у тебя не будет». Я не понял, что она имеет в виду, но спрашивать не стал. Она хотела сказать то же, что и Микки, когда мы набирали воду во дворе. Она догадалась, что я стесняюсь своей каски, и поняла почему. Я интересовал ее больше, чем мне казалось. Как-то днем в прошлом месяце – я потом все расскажу по порядку

– мы с ней снова ненадолго оказались наедине, но получилось не лучше, чем в первый раз. Было уже слишком поздно.

В субботу, накануне танцев в Блумэ, я позвонил из мастерской, чтобы кого-то послали вместо меня в кинотеатр. Там дежурить они все охочи. Думаю, я решил туда не ходить, чтобы не портить мою завтрашнюю встречу с Эль. Или же не хотелось видеть, как она уезжает после фильма в фургончике Жоржа Массиня. А возможно, и то и другое. Не знаю. В любом случае, я об этом пожалел, ведь готов же был пойти.

Я ждал в кухне, когда вернутся Микки и Бу-Бу, протирал бензином детали «делайе», которые притащил домой, завернув в тряпку. Выпил почти всю бутылку вина. Потом Коньята (я-то думал, что она кемарит в своем кресле) сказала, чтобы я перестал метаться как угорелый, у нее голова кружится. Мать уже давно спала. Я заодно почистил и смазал охотничьи ружья, они валялись в шкафу после окончания сезона. Той зимой я убил двух кабанов, а Микки одного. Бу-Бу стреляет только по воронам, да и то мажет.

Было уже за полночь, когда я услышал шум мотора, а фары грузовика осветили окна. Они смотрели ковбойский фильм с Полом Ньюманом и тут же начали дурачиться, схватив со стола ружья. Коньята смеялась, а потом испугалась, она ведь глухая, а Бу-Бу гениально изображает мертвых: пуля в животе, выпученные глаза, и готово. В конце концов я сказал, чтобы Бу-Бу отправлялся умирать к себе в кровать, но сперва помог Коньяте, ее нужно поддерживать, когда она поднимается по лестнице.

Когда я остался вдвоем с Микки, я спросил у него, была ли Вот-та в кино. Он сказал, что была. Я спросил, уехала ли она с Жоржем Массинем. Он сказал, что уехала, но с ними была еще Ева Браун. Он посмотрел на меня, ожидая новых вопросов, но у меня их не было или, наоборот, было слишком много. И он пошел отнести ружья в шкаф. Я налил ему стакан вина. Поговорили об Эдди Мерксе и о нашем отце, он был хорошим охотником. Еще говорили о Марселе Амоне[21 - Марсель Амон (р. 1929 г.) – известный французский певец и композитор, автор песен, особенно популярных в 1960–1970 гг.], в понедельник вечером его показывали по телику. Он его обожает. Когда Марсель Амон выступает по телевизору, мы должны перестать жевать – нужно благоговеть, как на службе в церкви. Я сказал ему, что Марсель Амон – это класс. Он сказал, что точно, что полный блеск. А в устах Микки это значит немало. Все, что делают Мариус Трезор и Эдди Меркс, – это полный блеск. Ну и Мэрилин Монро вдобавок. Я

сказал ему, что обязательно нужно будет вернуться с танцев к началу передачи, но он не ответил.

Странный все-таки этот Микки. Наверное, у меня голос звучал неуверенно – я налил ему и теперь наливал себе, – но дело было в другом. Пусть он выглядит не слишком башковитым, но не стоит его недооценивать, он точно знает, что вас гложет. Мы помолчали. Потом он сказал, чтобы я не беспокоился насчет завтра, он меня прикроет и сам все разрулит. Я ответил, что мне не нужно, чтобы он клеил для меня девчонку, я и сам прекрасно справлюсь. Но он сказал очень верно:

– Точно. Потому что Вот-та мне по барабану.

На следующее утро, в то самое знаменитое воскресенье, мы, три брата-босняка, помылись в душе во дворе. Солнце светило – лучше не придумать, и мы ржали над Бу-Бу, который дико стесняется показаться голым и с воплями прикрывает нижний этаж цветастой занавеской, которую я приладил к кабинке. Вода из родника все лето холодная – просто сердце останавливается, но ручной насос дико медленно качает ее в бак наверху, так что когда привыкнешь, то и такой душ воспринимаешь как продукт цивилизации.

Микки спустился в город на велосипеде сделать ставку – ему все равно нужно тренироваться, а когда вернулся, я уже оделся. Правда, таким они меня еще никогда не видели, и, когда я появился в галстук, все за столом слегка прибалдели.

С Вердые я должен был встретиться прямо в Блюмэ, он собирался приехать на казенном «рено», приписанном нашей пожарной части. Мы вчетвером – с нами была Жоржетта, подружка Микки, – поехали на «Ситроене DS» моего шефа. Он всегда дает, если я прошу, но каждый раз, когда возвращаю, говорит, что теперь машина работает хуже. Больше всего, увидев меня не в форме, удивился Вердые. Я надел бежевый костюм, желто-оранжевую рубашку и красный вязаный галстук, который одолжил у Микки. Я ему объяснил, что приехал с братьями, не успел переодеться для дежурства, но если что – форма в машине.

Было три часа дня, но возле «Динь-дона», раскинутого на рыночной площади, уже стоял такой шум, хоть уши затыкай; а у входа в огромный павильон с

полудня собралась плотная толпа, только чтобы заглянуть внутрь. Я велел Вердые оставаться на посту возле кассы и заставлял тех, кто заходит, тушить сигареты. Он ничего не спросил. Он никогда ничего не спрашивает.

Меня тут знают и не хотели брать деньги за билет, но я настоял, пусть будет приколот к груди, как у всех. Внутри творился сущий ад. Все заливал ярко-красный свет прожекторов, ревели электрогитары, гремели ударные, и вопили те, кто уже вошел в раж, – просто голова раскалывалась. Разглядеть и расслышать кого-то вообще невозможно, а поскольку солнце добела накалило жестяную крышу, все задыхались от жары, но не расходились. Бу-Бу ощупью отправился разыскивать приятелей, потом Микки подтолкнул меня к Жоржетте, чтобы я с ней потанцевал, а сам тоже смылся, пробираясь среди окружавших нас теней, которые общались с помощью жестов. Жоржетта принялась крутить бедрами, я тоже изображал нечто подобное. Единственным хорошо освещенным пятачком в зале оставалась круглая сцена, где отводил душу оркестр – пятеро парней в брюках с бахромой и раскрашенными во все цвета лицами и торсами. Бу-Бу потом сказал мне, что их называют «Апачи» и что они очень крутые.

Как бы то ни было, я целую вечность танцевал с Жоржеттой на одном и том же месте: кончалась одна мелодия, начиналась другая, я весь взмок, и мне вправду казалось, что это никогда не кончится, но вдруг прожекторы погасли, свет стал почти нормальным, выдохшиеся «Апачи» заиграли кончиками пальцев медленный фокстрот. Я видел, как парни и девушки с прилипшими ко лбу волосами садились перевести дух прямо на пол, прислонившись к стенке павильона, а потом увидел, что Микки ее нашел-таки и что Эль, как я и опасался, была с Жоржем Массинем, но мне уже было все равно: как вышло, так вышло.

На ней было очень легкое белое платье, у нее тоже волосы прилипли к вискам и ко лбу, и с того места, где я стоял, – в пятнадцати – двадцати шагах от нее – я видел, как у нее поднимается грудь и приоткрыт рот, она пытается отдышаться. Я знаю, что это идиотизм, но она до того мне нравилась, что мне стало неловко перед самим собой или я просто испугался и решил уйти. Микки разговаривал с Жоржем. Поскольку я хорошо знаю своего брата, то догадывался, что сейчас он плетет невесть что, чтобы увести его на улицу и расчистить мне поле боя. В какой-то момент он указал на меня и что-то сказал Эль, и она посмотрела в мою сторону. Она смотрела несколько секунд, не отворачиваясь и не отводя взгляда, и я даже не заметил, как Микки вышел вместе с Жоржем Массинем.

А она потом вернулась к группе девушек, две или три были наши, деревенские, и они смеялись, и мне казалось, что они смеются надо мной. Жоржетта спросила, хочу ли я еще потанцевать, и я ответил, что нет. Я снял пиджак и галстук и поискал глазами, куда мне их деть. Жоржетта сказала, что она позаботится, и, когда я повернулся – руки свободны, но мокрая рубашка прилипла к телу, – Эль была здесь, стояла прямо передо мной, не улыбалась, просто ждала, но почему-то иногда ты уже знаешь наперед, что будет потом.

Мы станцевали один танец, потом второй. Я не помню, что именно – вообще-то я хорошо танцую, мне неважно, что они там играют, но это точно было что-то медленное, потому что я прижимал ее к себе. Ладонь у нее была совсем мокрая, и время от времени она вытирала ее о подол, а ее тело сквозь платье обжигало. Я спросил, над чем они смеялись с подружками. Она откинула назад свои темные волосы, они задели мне щеку, но не стала крутить вокруг да около. Первая же ее фраза сразила меня наповал. Они смеялись с подружками, потому что ей не очень-то хотелось идти танцевать со мной, и она даже случайно что-то сострила насчет пожарных, и вышло ужасно смешно. Вот именно так, слово в слово.

Я знаю, что вы мне скажете, я это уже слышал миллион раз: что глупцов следует опасаться пуще, чем подлецов, что она глупа как пробка и мне тут же нужно было дать деру, что стоит ей открыть рот, и сразу ясно, что она за птица, – но это все неправда. И именно потому, что это неправда, я должен все подробно объяснить. На танцуйках девицы всегда ржут как лошади, когда слышат всякую похабщину, которую дома говорить запрещено. Они наверняка знают куда меньше, чем хотят показать, но боятся выглядеть смешными, если не будут гоготать громче остальных. К тому же это я задал ей вопрос. Я спросил, над чем они смеялись, вот она и ответила. Могла бы соврать, но она никогда не врала, если это ее напрямую не касалось, и это слишком утомительно. А если мне неприятен ее ответ, тем хуже для меня, зачем тогда спрашивал?

А потом, когда я с ней танцевал, я заметил одну вещь. Это мелочь, я уже о ней говорил, но она главнее всего остального. У нее была влажная рука. Я ненавижу пожимать потные руки, даже когда здороваюсь на ходу, просто терпеть не могу. А с ней я такого не почувствовал. Я сказал, что она вытирала руку о подол. Если бы это сделала любая другая, мне стало бы противно. А тут нет. Ее мокрая ладошка была, как у сомлевшего младенца, и напоминала что-то, что мне всегда нравилось, даже не знаю, что именно, но что-то, что есть и у младенцев, и у маленьких детей и наводит тебя на мысли о самом себе, об отце и его сгнившем

механическом пианино и напоминает среди танца, что ни ты, ни твои братья так и не пошли постоять под окнами банка «Креди мюнисипаль», чтобы дать им послушать «Розы Пикардии». Да, именно так, напоминает что-то, что не связано ни с добром, ни со злом, но может наверняка привести туда, где я сейчас оказался, и хоть раз заставить Вердые искренне заплакать и уже не быть таким ничтожеством. Когда мне говорили о ней, хотели убедить бежать от нее, пока не поздно, я тоже всегда отвечал: «Да пошли вы...»

Еще я заметил, с первых же ее слов, что у нее другой выговор, не местный. Конечно, не такой резкий акцент, как у Евы Браун, но он был слышен даже в этом грохоте. Я спросил, говорит ли она с матерью по-немецки. Она сказала: ни по-французски, ни по-немецки, ей не о чем с ней разговаривать. А с отцом и того меньше. Эль ниже меня, у меня рост метр восемьдесят четыре, но для девушки она высокая и вся какая-то вытянутая. Худенькая, только грудь выступает, я ощущал ее, когда прижимал к себе, а сверху она видна была в вырезе платья. Пока мы танцевали, ее длинные волосы закрывали ей лицо, и она часто откидывала их назад. Таких красивых волос я больше ни у кого не видел. Я спросил: они от природы такие черные? Она ответила:

– Ну ты, специалист, даешь, ей этот цвет обходится в семьдесят пять франков в месяц, к тому же голова чешется, того и гляди заработает себе колтун.

Красные и оранжевые прожекторы вдруг снова завертелись и стали слепить глаза, а «Апачи» опять вышли на тропу войны. Именно в эту минуту, когда уже было ничего не слышно, я спросил, не хочет ли она чего-нибудь выпить. Но она поняла, только повела левым плечом и пошла за мной. У выхода я сказал Вердые, что он может станцевать танец или два, а я побуду снаружи. Я произнес это не как обычно, а командирским голосом, и он сразу понял, что я выпендриваюсь перед Эль. Мне стало неловко. Он ничего не ответил и ушел.

Мы пробились сквозь стену людей, толпившихся на ступеньках шатра. На площади, когда мы молча шли к кафе, я взял ее за руку, и она позволила. Сначала вынула руку и вытерла о платье, но потом вложила назад. У стойки она заказала минеральную воду «Виттель» с мятой, а я пиво. Вокруг сидели люди и обсуждали скачки – я проиграл и Коньята тоже, – а она, щурясь, оглядывала зал. Я спросила, не Жоржа ли Массиня она ищет, и она сказала, что нет, что он ей не муж.

После пекла в танцзале в баре было прохладно, и я чувствовал, как рубашка прилипает к телу холодными островками. Она тоже была вся мокрая. Я мог проследить взглядом за капелькой пота, которая стекала у нее от виска по щеке, оттуда на шею, а там уже она вытирала ее пальцем. У нее короткий нос, и через полуоткрытые губы видны белоснежные зубы. Эль заметила, что я неотрывно смотрю на нее, и засмеялась. Я тоже засмеялся. Но она тут же снова мне врезала. Сказала, что когда я смотрю на нее вот так, то похож на придурка, что все-таки я мог бы сказать что-нибудь поумнее.

На дороге из Пюже в Тенье есть отель, там раньше был медный рудник. При отеле бассейн и ресторан, на столах красные скатерти в белую клетку, и ужинают там при свечах. Я не знаю, как объяснить, но для меня этот отель казался чем-то очень важным. Я раз попал туда – возвращал отремонтированную машину и сказал себе, что когда-нибудь поеду туда при деньгах, а со мной будет красивая, нарядно одетая девушка, как у тех мужчин, которых я видел в тот вечер. И, не раздумывая, снова подставляя себя под удар, я сказал Эль, что хотел бы как-нибудь пригласить ее в тот ресторан на ужин, и, наверное, выложил бы как на духу и все свои остальные мысли, если бы она снова не дала мне по мозгам, еще больнее, чем в первый раз. Она не дала договорить и заявила, что не собирается переспать со мной ради ужина в ресторане. Вообще-то меня предупреждали.

Кажется, я засмеялся, хотя это неважно. Вокруг было полно народу, в игральных автоматах звенели монеты, «Апачи» надрывались на сцене, но я ведь и так знал, что день сегодня идиотский, девица идиотка, что я в полном нокауте, как вдруг она меня добила окончательно, чтобы уже разом прикончить. Она выдохнула, глядя куда-то мимо меня – не вздохнула, а именно выдохнула, – что не намерена торчать здесь весь день, как пень, и что она, кстати сказать, танцевать может только по воскресеньям.

Мы вернулись в «Динь-дон». Я уже не держал ее за руку. Не мог с собой ничего поделаться, она меня достала. Когда меня что-то задевает, я не умею притворяться. Я довел ее до деревянных ступенек, где уже тысячу лет топтались те же люди, и по-дурацки сообщил ей, что я туда больше не пойду, что мне пора. Не знаю, зачем я это сказал. Делать мне, в общем-то, было нечего, просто сжег мосты, хотя понимал, что тут же об этом пожалею. Я хотел было намекнуть, что у меня где-то назначена встреча с девушкой, но она не дала мне времени. Сказала:

– А, ладно.

И все, протянула руку. Она ушла танцевать, подавшись вперед всем телом, чтобы пробираться между сидевшими на ступеньках, и любой из них мог попытаться с ней свое счастье, но я-то знал, что я ее потерял навсегда, навсегда. Когда она скрылась, я вспомнил, что мне всяко нужно попасть внутрь – забрать свой пиджак.

Я вернулся в кафе выпить еще пива. Я впервые почувствовал то, что другие так никогда и не смогли понять. Я имею в виду не только мать, Микки и Бу-Бу, а вообще всех на свете. Несколько минут назад, когда я сидел, облокотившись на ту же стойку, посетители не спускали с нас глаз только потому, что она была со мной, все было наполнено жизнью, включая меня самого. Я знаю, что это звучит глупо. Я никогда не испытывал такую гордость ни с одной другой девушкой – именно гордость, – хотя, как я уже говорил, была у меня подружка покрасивее, чем Эль. Сейчас я гордился ее густыми волосами, ее походкой, ее манерой широко распахивать глаза, ничего вокруг при этом не замечая, ее кукольным личиком. Она и вправду напоминала куклу, которую я видел, когда был маленьким, а теперь увидел снова: она выросла вместе со мной. А теперь я сидел, как полный кретин, перед кружкой пива.

Я пошел немного посидеть в машине шефа, которую поставил в тени. Я не знал, куда мне податься. А потом подошел Микки, он увидел, как я иду по площади. В руках он держал шары, играл с местными. Он сказал, что они в паре с Жоржем Массинем первую партию проиграли, а теперь впереди на три очка[22 - Игра в шары, или петанк, популярна во Франции. Игроки двух команд по очереди бросают металлические шары так, чтобы их шар оказался рядом с маленьким деревянным шаром (кошонетом), за это начисляется одно очко. Можно задеть кошонет или сбить шар соперника. Выигрывает та команда, шары которой в конце игры оказались ближе к деревянному шару, чем шары соперника. Игра продолжается до 13 очков.]. В шары он играет так же лихо, как водит свой грузовик. Всегда стремится быть очень метким, но попадает только в шары противника. Он сказал мне, что если я хочу вернуться домой, то могу ехать сейчас, они с Жоржеттой доберутся сами. Я сказал, что подожду. Он сказал, что в соседней деревне сейчас ярмарка, и когда он закончит играть, то, если я не против, можно съездить туда пострелять в тире. Я спросил его, кого он планирует убить. Стреляет он так же, как играет в шары. Однажды в тире он нажал на курок в тот момент, когда ему передавали ружье, и едва не убил бедную хозяйку.

В результате решили, что, когда он закончит партию, мы вернемся посмотреть Марселя Амона по телику, а на ярмарку, может, сможем поехать после ужина. Мы с Микки и Жоржеттой так и сделали, а Бу-Бу остался с приятелями, они обычно ездят всей компанией на одном мотоцикле, но на ярмарку мы не поехали, стали играть в рами[23 - Рами – карточная игра, цель которой – как можно скорее избавиться от своих карт, составляя из них различные комбинации. Побеждает тот, у кого первого не окажется на руках карт.] с Коньяттой. Она всегда со всеми собачится, и нужно ждать сто лет, прежде чем она решится сбросить карту, и так до бесконечности.

Около полуночи мы с Микки отвезли Жоржетту домой, потом подъехали в мастерскую оставить DS перед воротами. Шеф еще не спал, спустился объявить, что больше никогда в жизни не даст мне свою машину. Мы выпили грушевой наливки на ступеньках, выкурили сигару, рассказали кучу idiotских историй, и я пришел в себя. Я сказал себе, что на свете много других девушек, их вообще-то так много, что, будь у меня миллион жизней, все равно я всех бы не поимел. Я сказал себе, что правильно сделал, что ушел с танцев. По крайней мере, дал ей понять, что я за ней не бегаю.

На следующий вечер Эль явилась ко мне в мастерскую.

Когда она вошла со своим велосипедом, улица была залита ослепительно оранжевым солнечным светом, а я как раз лежал под машиной, поднятой на домкрате. Увидел только ноги, но сразу же понял, что это она. Ноги подошли так близко к машине, что можно было до них дотронуться, она громко спросила, есть ли тут кто. Я лежал на спине на подкатной тележке, и когда вылез наружу, то увидел, что, вопреки всем сплетням, она носит трусики. Белого цвета. Она спокойно посмотрела на меня сверху вниз, сказала, что у нее сдох велик, но не отошла назад ни на сантиметр. Я попросил ее подвинуться, чтобы я мог вылезти. До нее дошло через несколько секунд. Я изо всех сил старался строить из себя эдакого крепкого парня, как в кино, смотреть ей прямо в глаза и никуда больше. В конце концов она немного попятилась, но я так резко выкатился наружу, что она сообразила, что мне неловко.

Она сказала, что у меня классная тележка. Сказала, что хотела бы на ней покататься, и уселась на нее. Я вообще не успел отреагировать. Даже не подхватил ее велосипед, она просто-напросто бросила его на пол, там, где стояла. Так всегда, чем глупее у нее намерения, тем труднее ее остановить.

Растянувшись плашмя на животе, как будто собираясь плавать, она стала кататься по мастерской туда-сюда, отталкиваясь от пола руками и вопя от радости, когда ей удавалось избежать столкновения. Шеф ушел в магазин, но Жюльетта была наверху, в кухне, и тут же выскочила посмотреть, что происходит.

Жюльетта ее недолюбливала, да и никто из женщин, кроме Евы Браун, не мог ее любить, и стала по-всякому ее обзывать и велела идти куда подальше и там демонстрировать свою задницу. Я догадался, что шеф, должно быть, ляпнул что-то не то на ее счет или проговорился как-то иначе. Жюльетта дико его ревнует, боится, что его уведут. Она ушла к себе на кухню, сказав мне:

– Разломай ее велосипед, пусть только выкатывается отсюда!

И хлопнула стеклянной дверью, которая отделяет мастерскую от квартиры. Обычно, если там вылетело стекло, значит, они ссорились.

На сей раз стекла выдержали. Ну а Эль никогда не отвечает, когда на нее кричат. Она встала, отряхнула испачканную юбку до жути грязными руками, взглянула на меня, как переглядываются дети в школе: «До чего противная эта училка!» Я снял переднее колесо с ее велосипеда, проверил покрышку. Не понадобилось даже погружать ее в воду, резина была не просто проколота, а порвана сантиметра на три. Я спросил у нее, как она умудрилась, но она только повела левым плечом и не ответила.

Я сказал, что у меня нет запаски. Дома есть покрышки, которыми пользовался Микки, еще вполне годные. Но когда я предложил, чтобы она сходила к нам домой и попросила у матери дать ей одну, она отказалась. «Чтобы меня обхамили? Благодарю!» Спросила, когда я заканчиваю работу. Я сказал, что еще долго придется лежать под машиной. Она сказала, что подождет на улице. Я был голый до пояса, перед грозой всегда ужасно парит, и она сказала, что я здорово накачан. Когда увидел, что у нее порвана покрышка, то почти не опасался, что она как-нибудь выскажется на мой счет, но это было первое доброе слово, которое я от нее услышал, и мне было приятно. Но оказывается, я зря радовался. Качков, как раз, она не любит. Наоборот, ей нравятся худые парни, чем стройнее, тем лучше.

Я закончил работу, помылся в глубине мастерской, надел рубашку и крикнул Жюльетте, что ухожу. Она видела из окна, что Эль меня ждет, поэтому крикнула, чтобы я проваливал на все четыре стороны.

Она ждала меня, сидя совершенно неподвижно на пригорке, опершись обеими руками о землю, велосипед валялся рядом. Я никогда не видел, чтобы люди могли сидеть так неподвижно, как Эль. Потрясающе. Такое впечатление, что у нее даже мозг замер, а в широко открытых глазищах вообще ничего не отражается. Однажды дома она не слышала, как я вошел и тоже замер на месте, наблюдая за ней. Она была просто как кукла. Забытая кукла, которую посадили в углу комнаты и бросили. Прошла вечность. В конце концов я не выдержал и пошевелился, иначе бы спятил.

Мы прошли с ней бок о бок по деревне, одной рукой я держал ее велосипед, другой – переднее колесо. Точнее, мы спустились по улице, она там всего одна, и пока шли, все высыпали на пороги домов и пялились на нас. Я говорю совершенно серьезно: все. Даже новорожденный в коляске. Не знаю, возможно, в них просто говорил животный инстинкт, который после грозы гонит людей наружу, или же они боялись пропустить такое зрелище: Пинг-Понг с дочкой Евы Браун. Во всяком случае, говорить мы не могли. Брошар вышел из своего кафе и помахал мне рукой, я еле-еле махнул в ответ. Остальные с напряженными лицами провожали нас глазами, но тоже молча. Даже когда я испытывал свою «делайе», меня еще ни разу не сопровождал такой почетный караул.

Наш дом стоит на отшибе, как и дом ее родителей, только на другом краю деревни. Это ферма с каменными и деревянными постройками – покосившиеся, но еще крепкие крыши и большой двор. Кроме виноградника, который мы купили на двоих с Микки, и участка в один гектар, который летом сдаем отдыхающим под парковку для караванов, другой земли у нас нет. Живность тоже не держим, разве что несколько куриц и кроликов. Мать очень следит за чистотой в доме и даже собаку завести не разрешила. Отец оставил нам только стены и механическое пианино. Мы живем на мой заработок и на крохи, остающиеся у Микки, который все свои деньги тратит на то, чтобы прийти к финишу часа через три после лидера. Но ни в чем себе не отказывает. Как говорится, гонщик-аутсайдер. А снаряжение у него, как у первоклассного чемпиона, и, если бы в городе можно было бы надувать покрышки гелием, как Эдди Меркс, он наверняка поступил бы так же. Если Микки сделать замечание на этот счет, он сразу же напускает на себя такой вид, будто проглотил жвачку, и стыдит нас за крохоборство.

Во всяком случае, едва мы вышли из деревни и смогли заговорить, Эль сказала, что я не имел права вчера бросить ее вот так. Она заметила, что меня что-то задело, но не поняла, что именно. Она жалеет, что я ушел, потому что я хорошо танцую. Я сказал ей – хотя это была только часть правды, – что мне было не по себе из-за Жоржа Массиня. Она ответила:

– Скажешь тоже, Жора-обжора, она ведь, между прочим, никому не принадлежит, а уж тем более Жоржу Массиню, и к тому же между ними все кончено.

Потом она шла по дороге, качая головой, словно повторяла про себя то, что только что произнесла вслух.

В тот день, казалось, что-то особое было разлито в воздухе – небо ярко-голубое, словно чисто вымытое – даже мать стояла у двери и смотрела, как мы идем по двору. Я крикнул ей издали, что должен починить велосипед, и пошел прямо в пристройку, где держу все, что требуется для Микки. А они друг другу ничего не сказали, даже не поздоровались. Вот-та, потому что ее просто этому не научили, а мать, потому что ни за что не покажет, что чувствует перед теми, кто в юбках, включая Жоржетту. Думаю, окажись на нашем дворе шотландец в килте, он тоже поверг бы ее в ступор.

Пока я накачивал шину, Эль пошла и села на деревянный настил возле крана с родниковой водой, в нескольких шагах от меня. Она подставила пальцы под струю, но не спускала с меня глаз. Я спросил, она что, нарочно порвала крышку, чтобы повидать меня? Она сказала, что так и есть, «секатором для обрезки роз». Я спросил, она что, нарочно подошла вплотную к машине, она ведь знала, что я под ней лежу. Она сказала, что нарочно. Она уже несколько дней назад заметила, что я разглядываю ее ноги, когда она проходит мимо мастерской. Прежде чем войти, она хотела даже снять трусики, только чтобы увидеть выражение моего лица, но Жюльетта следила за ней из окна, потому она не решилась.

Она не засмеялась, не понизила голос, говорила как ни в чем не бывало, произнесла все это точно так же, как все остальное, со своим слегка заметным акцентом, как у бошей. А потом я по ошибке поставил на колесо проколотую шину, и пришлось начинать все сначала. У меня было дико тяжело на сердце. Я ей сказал, что девушка не должна так говорить. Она ответила, что все девушки одинаковые, просто некоторые ханжи, вот и вся разница. Я работал,

повернувшись к ней спиной, чтобы она не заметила мою оплошность. Но вообще-то я боялся взглянуть на нее. Тогда она сказала:

- Пинг-Понг - это же не имя, как вас зовут?

Я не успел подумать и ответил:

- Робер.

Когда велосипед был готов, она не стала торопиться. Сначала посидела еще на настиле у источника, зацепившись одной ногой за край, а другую поставив на землю, чтобы я мог хорошенько разглядеть то, что она хотела продемонстрировать, но в глазах у нее промелькнуло, нет, не разочарование, что-то большее, скорее, грусть, может быть, оттого, что она поняла, что ее уловки на меня больше не действуют и что, возможно, мне скорее противны. Позже я узнал: когда она чувствовала, что проигрывает в какой-то игре - она прилично играла в карты, - у нее появлялся такой же взгляд. Потом она спустила ногу, оправила юбку и только тогда встала. Она спросила, сколько она должна. Я пожал плечами. Она мне сказала - и ее голос звучал совсем не так, как обычно, мне даже показалось, что исчез акцент: «Вы меня не проводите?» Я проводил. Она хотела сама тащить велосипед, но я не дал, сказал, что мне не трудно.

Мы почти не говорили по дороге. Она сказала, что очень любит Мэрилин Монро и что прошлым летом выиграла конкурс красоты в Сен-Этьен-де-Тинэ. Я сказал, что мы были там с братьями и что у нее явно было преимущество. Потом вся деревня снова высыпала на улицу посмотреть, как мы идем, все, кроме разве что младенца в коляске, который уже на нас насмотрелся. Брошар снова как-то нерешительно помахал мне рукой, а я махнул в ответ. Мне казалось, это первое апреля, и у нас на спинах болтаются рыбы[24 - До 1562 г. начало нового года было принято отмечать 1 апреля. Затем папа Григорий XIII ввел для всех христиан григорианский календарь, согласно которому новый год отсчитывался от 1 января. Тех, кто противился нововведению и продолжал встречать Новый год 1 апреля, стали называть «апрельскими дураками» или «апрельскими рыбами», потому что в это время Солнце находится в созвездии Рыб. С тех пор в виде первоапрельской шутки французы подвешивают друг другу на спину бумажные рыбы.].

Мы попрощались у ее дома. Она забрала велосипед и пожала мне руку. Ева Браун стояла в глубине двора, распрямляла цветы, поникшие от грозы. Она смотрела на нас издали и молчала. Я крикнул:

- Добрый вечер, мадам!

Но с таким же успехом мог поздороваться со статуей. Я стал, пятась, отходить от Эль, но вдруг она спросила, в силе ли мое приглашение поужинать в ресторане. Я ответил, что, конечно, в силе, когда она захочет. И она сказала:

- Тогда не будем откладывать, давайте сегодня вечером?

Первое, что пришло мне в голову, что ей трудно будет отпроситься. Эль ответила: «Она справится». Я сперва подумал, что она говорит о матери, поэтому дошло до меня не сразу. Я тогда еще не знал, что иногда ни с того ни с сего она говорит о себе или о тех, к кому обращается, в третьем лице. С ней самое простое «передай мне соль» превращалось в головоломку.

Ева Браун наблюдала за нами, стоя неподвижно в глубине двора. Был восьмой час. На вершинах гор еще лежали солнечные блики, но до ресторана, куда я хотел ее повести, ехать не меньше полутора часов, и то если мчаться по серпантину. Я не мог идти в рабочей одежде, ну и ее при свечах я представлял одетой как-то иначе, а не в юбке и рубашке-поло. Я уже молчу про жирные пятна, которые она насажала, пока, как дурочка, резвилась в мастерской. Но она поняла это и без слов. Я просто должен был сказать ей, что надеть, а она будет готова через пять минут. Я должен обойти дом, ее комната выходила на луг Брошара, и она покажет мне свои наряды через окно. Именно поэтому в конце концов я не мог уже прожить без нее. Она придавала жизни такое ускорение, какое мне и не снилось.

Я кивнул. Она тронула меня за руку, внезапно улыбнулась и как-то расслабилась всем телом – словно слегка подпрыгнула, тут же бросила на землю велосипед и побежала в дом. Бежала она быстро, потому что ноги длинные, но как девчонка – по-особому: выбрасывая их в стороны и покачивая бедрами. Ненавижу, когда по телику показывают, как на соревнованиях девушки бегают, как паровозы. Не знаю почему, но меня это бесит.

Я обошел дом вдоль ограды кладбища, как тогда, вечером на прошлой неделе, но теперь мне не нужно было прятаться. На пастбище не было ни души, летом коров приводят позже. За изгородью из колючего кустарника сквозь жужжание пчел я слышал, как Ева Браун что-то громко говорила по-немецки, а Эль ей отвечала. Слов я не понимал, но догадывался, что именно они обсуждают. Потом наступила тишина.

Минуту спустя Эль распахнула окно. У них на втором этаже три окна, ее – правое. Она показала мне красное платье, розовое и черное. На черное она прикрепил большой цветок, чтобы я посмотрел, потом брошку. Она прикладывала платье к себе, а демонстрируя красное, высвободила одну руку, чтобы поднять вверх копну черных волос. Я знаком показал «нет». Два других мне очень понравились. Особенно розовое, очень короткое, на тонких бретельках. Я развел руками, как неаполитанец, показывая, что не могу решить, какое лучше. Тогда она стянула через голову рубашку. У нее были голые груди, именно такие, как я и представлял, – круглые и налитые, прекрасные для такого худого тела. Сначала она надела розовое, но из-за подоконника я видел ее только наполовину. Потом она его сняла, хотела примерить черное, но мне и так уже было все ясно, я тряс изо всех сил большим пальцем, чтобы показать, что предыдущее, розовое, мне нравится больше. Тогда она поняла и отдала мне честь по-военному. Это был чудесный миг, наверное, один из лучших в моей жизни. Когда я его вспоминаю, мне хочется начать все сначала.

Пока Эль собиралась, я пошел в мастерскую. Шеф был уже наверху с Жюльеттой, а я так быстро влетел к ним на кухню, что стукнул стеклянной дверью об открытую дверцу холодильника. У них так тесно, что нельзя открыть обе двери одновременно. Мастерская постепенно вытесняет квартиру, они используют любой закуток для хранения бутылей с машинным маслом и папок с документами, скоро им вообще придется жить на улице.

Я сказал шефу, его зовут Генрих, а дразнят Генрихом Четвертым[25 - Генрих IV родился в 1553 г. в По (историческая область Беарн, граничащая с Баскскими землями).], потому что он оттуда же родом, что мне нужна машина. Он велел взять старую 2CV[26 - 2CV – малолитражная машина (2 л. с.) марки «Ситроен», выпускавшаяся во Франции с 1948 по 1990 г.]. Это чтобы показать Жюльетте, что он мной недоволен. Она наверняка расписала ему сцену в мастерской. Я спросил, нужна ли ему DS. Жюльетта готовила ужин, но не преминула съязвить. Нет уж, чтобы заниматься всякой мерзостью с Вот-той, совершенно не

обязательно ехать в лес на ее машине. Уж увольте. К счастью, шеф умеет ее обуздать. Он сказал, что если я и был в нее влюблен в школе, то это не значит, что она должна издеваться надо мной всю жизнь. Она пожала плечами, но вернулась к своему пюре и овощерезке.

Раз он открыл холодильник, чтобы положить лед в стакан с пастисом, то предложил выпить и мне. Я выпил залпом. Он сказал, что Жюльетта недовольна, потому что хотела воспользоваться широкими сиденьями DS, чтобы им самим развлечься сегодня вечером. А она сказала:

– Ты мне еще поговори! – и густо покраснела, но, по сути, не рассердилась, что он о ней так говорит.

Он знает, как ее прищучить. Когда я попрощался, она сказала, чтобы я там был поаккуратнее. Я ответил, что буду вести осторожно. Она сказала, что имела в виду вовсе не это.

Я вывел DS из гаража и подумал, что нет времени ехать переодеваться до того, как я заеду за барышней, она, наверное, уже собралась, и поехал прямо к ней. Она не появилась, тогда я доехал до кладбища, развернулся, а когда ехал обратно, она уже вышла мне навстречу. Она причесалась, накрасилась, надела открытые белые туфли на каблуках – на самом деле, даже не туфли, просто подошва и два ремешка, – издали мне показалось, что она босиком, на плечи набросила вязаную шаль, тоже белую, а платье – словно из журнала мод.

Ева Браун вышла из дома вслед за ней и что-то крикнула по-немецки. Я слышал, что отец тоже что-то кричит из своей комнаты, но слов разобрать не мог. Она даже не обернулась. Она подошла прямо ко мне и спросила, робко и очень нежно улыбаясь, так ли она выглядит, как хотел Робер. Я сперва не понял, кто такой Робер. Но несколько раз кивнул головой. Она села рядом, стараясь не помять платье, и велела ехать как можно быстрее, потому как не желает строить из себя английскую королеву, пока мы едем по деревне.

Увы, на спуске нельзя разогнаться, и мы удостоились стать участниками третьего действия. Те, кто был на улице, звали тех, кто сидел дома. Брошар, наверное, уже устал меня приветствовать и не поднял руку, зато его дочь Мартина, лет семнадцати, стала махать изо всех сил, когда увидела подружку в DS, и округлила губы, готовясь свистнуть. Жорж Массинь сидел за столиком

кафе с приятелями. Он только проводил нас взглядом, не выказав то, что думает. Но мне было не по себе. А Эль – хоть бы что. Она показала язык дочке Брошара.

Я остановился у наших ворот. По дороге Эль сказала, что, пока я буду переодеваться, она посидит в машине. Я спешил как мог. Микки и Бу-Бу уже вернулись. Я сказал им, что еду ужинать, больше они не стали расспрашивать. Мать тем более, но это другое дело, она даже губ не разжала в моем присутствии.

На кухне я побрился. У нас нет ванной, а электробритва Микки – одно название. Коньята в конце концов спросила из своего кресла, с чего это вдруг я так прихорашиваюсь. Микки объяснил ей, жестикулируя и крича как оглашенный. Он пошел со мной наверх одолжить свой одеколон и свитер с короткими рукавами. У него феноменальные свитера, с ним работает один итальянец, который привозит их из Флоренции, чистый пух на ощупь. Я надел черные брюки, его черный свитер в белую полоску, а Бу-Бу тоже поднялся, чтобы дать свой лаковый ремень, тоже черный, он подходит к мокасинам. Они сказали, что я потрясно выгляжу. Я объяснил Микки, что, если что-то случится и мне позвонят из казармы, я буду в ресторане в Пюже-Тенье, номер есть в телефонном справочнике у моего шефа. Уходя, я предупредил мать, что вернусь, наверное, довольно поздно, пусть не волнуется, но она накрывала на стол, будто меня вовсе не было в комнате.

Когда я сел за руль, Эль не пошевелилась, она сидела очень прямо, а солнце уже скрылось за горами. Она заметила, что я переоделся. Все, что она смогла сказать, что я выгляжу, как Зорро, но в ее глазах и в том, как она отодвинулась, чтобы дать мне больше места, хотя его и так было предостаточно, я понял, что ей, как и мне, этот вечер запомнится надолго.

По пути она рассказала, что все платья ей шьет мать, потом уже сама Эль их подкорачивает. Она всюду таскает с собой иголку с ниткой, потому что мать всякий раз отпарывает ей подшивку. Она открыла белую сумочку и показала нитки и иголку. Сказала, что она совсем безрукая, только и умеет, что подкорачивать свои платья, где придется, когда идет на танцы, и что для мужика она – небольшая находка. Она произнесла это даже не без некоторой гордости. Потом стала рассказывать об отце, каким он был до болезни, но я слушал рассеянно, потому что срезал повороты, чтобы ехать быстрее, и концентрировался на дороге.

Включив фары на магистрали из Анно в Пюже-Тенье, я вдруг заметил, что мы почти уже час молчим. Она придвинулась ко мне, и я иногда чувствовал, как она касается меня плечом. Снаружи опускалась обманчивая светлая ночь. Я спросил, все ли нормально. Она всего лишь кивнула головой, но с таким серьезным и сосредоточенным видом, что я подумал, не укачало ли ее на поворотах. И произнес это. Эль ответила, что я хорошо понимаю чувства девушек. А вообще-то я не угадал. Она бы мечтала провести всю свою жизнь, катаясь на машине. Она никогда не перестанет злиться на своего придурочного папашу, который так за всю свою жизнь и не смог скопить на тачку.

Я сказал, что у меня есть «делайе». Она не знала, что это за марка, но была в курсе, как и все деревенские, что она не на ходу. Я сказал ей, держу пари, что я в конце концов доведу ее до ума. Все дело в запчастях, которые больше не выпускают. Можем поспорить, что в один прекрасный день мы с ней еще покатаемся на этой машине. Она спросила куда. Я разрешил ей выбрать самой. Есть только одно такое место, куда бы она хотела поехать. Именно в ту минуту, когда она произнесла эту фразу, случилось невероятное.

Я внезапно осознал, что она полностью повернулась ко мне – лицо оживилось, теперь она казалась старше лет на десять, а может быть, это мне показалось из-за сгустившихся сумерек? Она сказала с волнением в голосе – и на сей раз, могу поручиться, без малейшего акцента, – что если я смогу запустить мою развалюху, то отвезу ее в Париж, в Париж, и тогда смогу ее трахать сколько угодно, ведь мне же этого хочется? Так прямо и сказала. Она вытянула вперед руку, как бы бросая мне вызов, и стала колотить меня в грудь часто, но не больно, требуя, чтобы я подтвердил:

– Ну, дебил, так и скажи, что хочешь меня трахнуть!

Я понял, если я ее не успокоить, она, чего доброго, схватит меня за руку или что-то в этом роде, и мы попадем в аварию, поэтому я остановился на обочине.

С тех пор я сотни раз прокручивал в памяти наш разговор, туда и обратно, но так и не понял, что привело ее в такое состояние, но еще больше, если такое вообще возможно, меня потрясло другое. Когда я остановился на обочине, она внезапно рывком отодвинулась от меня и выставила вперед руки, словно готовясь отразить удар.

Я не мог говорить. Впрочем, я все равно не знал о чем. Мы несколько секунд сидели вот так, молча. Сперва она на меня не смотрела. Ждала, опустив голову. А потом стала разглядывать в упор, по-прежнему прикрываясь локтями. Я очень хорошо видел ее глаза. В них не было ни сожаления, ни страха, эти глаза следили за движениями хитроумного противника. Наконец я наклонился к ветровому стеклу, взялся за руль, а она медленно опустила руки. И стала расправлять платье на коленях. Откинула прядь волос. Ни слова. Я спросил у нее, что я такого сказал, что она так отреагировала. Она не ответила. Я спросил у нее, почему, когда она нервничает, то говорит без акцента. Она сказала, что она специально говорит с акцентом, чтобы быть не такой, как все. Вот так.

Я тоже немного успокоился и засмеялся. Она сказала, что, если я кому-нибудь расскажу об этом, она всем растреплет, что я сплю с Лулу-Лу, женой Лубе. Я спросил, почему она так думает. Она ответила, что все это знают, потому что я хожу вокруг кинотеатра с видом секретного агента. Я ей сказал, что раз все это знают, она может везде об этом трезвонить, это уже не важно. Я снова почувствовал, даже не глядя на нее, что она скисла, так будет потом каждый раз, когда она будет проигрывать в карты. Она попросила, уже потише, поклясться, что я никому не проболтаюсь. Я поклялся. Я сказал ей, что ехать до ресторана уже недолго, но я могу отвезти ее назад в деревню, если ей больше не хочется. Она схватила меня за руку, положила мне на плечо голову с копной черных волос и сказала:

- Что-то не так?

Я завел мотор. Она так и осталась сидеть, прижавшись ко мне.

В ресторане «У двух мостов» – так он называется, потому что стоит над рекой, – все было так, как я и представлял себе, хотя, честное слово, что-то прошло даже лучше.

Для понедельника было много народу, в основном постояльцы гостиницы, но нас посадили за хороший столик у окна, выходящего на бассейн с подсветкой. Когда мы вошли, Эль сняла свою шаль. У нее уже загорели плечи и ноги, она шла, держа меня за руку, словно была моей девушкой, ни на кого не глядя, с таким видом, будто она где-то далеко отсюда, но при этом чувствует себя как дома. Мужчины провожали ее глазами, словно желая содрать с нее лоскуток розовой ткани, скрывавшей ее наготу, а взгляды женщин, наоборот, были направлены на меня. Я знаю, что это глупо, я уже говорил, но, если я сейчас не

повторю, никто так ничего и не поймет, до чего меня распирала гордость за нас обоих, когда мы бывали вместе.

Мы сели друг против друга. Загородившись большим меню – мы изучали одно на двоих, – она сказала, что впервые попала в такое место со свечами, серебряными приборами и всеми этими халдеями на побегушках. Родители водили ее в ресторан в Гренобле, когда она была маленькой, после того как она послушно «показала дяде доктору глазки», но там столы были покрыты клеенкой, висели липучки для мух, все такое дико убогое, кроме большой собаки по кличке Люцифер, она кидала ей под стол кусочки мяса, а для полноты счастья отец устроил дикий скандал из-за нескольких сантимов, когда расплачивался.

Эль повторила, не знаю зачем, что она была маленькой, а пса звали Люцифер, «как дьявола», и что она покормила его мясом. Потом она засмеялась, сказала, что я явно приглянулся смазливой блондинке за столиком посередине зала, но, чтобы я не поворачивался, пусть она лопнет от злости со своим старпером. Она улыбалась, но глаза были какие-то грустные, я заметил, что она все время чертит что-то на скатерти зубцами вилки. Наконец она сказала, чтобы я не злился, если она что-то попросит. Я покачал головой. Она попросила показать, сколько у меня с собой денег.

Я вынул их из кармана. Я никогда не ношу бумажник. Выходя из дома, я взял несколько купюр и свернул в трубочку. И протянул ей. Эль была страшно бледной, несмотря на свой макияж. Она не стала их пересчитывать. А просто зажала в руке. Я не мог понять, почему она так вела себя в машине, а здесь, хотя это было ужасно глупо, я, по-моему, догадался. Она вспомнила, как ее отец базарил из-за счета – ей тогда наверняка было очень стыдно, – я прекрасно понимаю, каково ей было, – и, пока она мне об этом рассказывала, у нее закрались подозрения. Она испугалась, что, когда мы будем уходить, вспыхнет какой-нибудь скандал.

Когда она вернула мне деньги – аккуратно вложила в руку, не глядя в лицо, – я спросил у нее очень-очень осторожно, неужели она действительно так подумала? Она не успела ответить, но по ее глазам я увидел, что ошибся. Она снова порозовела, а во взгляде у нее промелькнула то ли хитреца, то ли издевка. Эль ответила, что нет, просто она не понимает, почему я с ней такой добрый, ведь другие парни с ней так не миндальничали.

К нам подошел метрдотель – она говорила «дирижер», – я заткнулся со своими вопросами, и мы стали заказывать как ни в чем не бывало. Она попросила дыню, но без портвейна[27 - Типичное блюдо во французских ресторанах середины XX в. – углубление в центре разрезанной пополам небольшой дыни заполняется портвейном.], мороженое и клубнику, а я – уже не помню что. «Дирижер» показал ей большой стол в глубине зала, где стояла уйма разных закусок, и сказал, что мадемуазель потом пожалеет, если их не попробует. Она согласно кивнула. Он спросил, какое вино я выбрал. Я посмотрел на мадемуазель, но она состроила дурацкую рожу. Она ведь вообще не пила. Мне кажется, что кроме того вечера она вообще больше не пила ни капли спиртного, по крайней мере, я не видел. Она говорила, что тогда начинает реветь белугой и ее ни за что не остановить. Я заказал шампанского. Мерзавец удвоил ставку: «Какое именно?» Но Эль спасла положение. Она встала, направляясь к столу с закусками, и произнесла со своим акцентом, как у бошей:

– Приходишь сюда из года в год и всегда пьешь одно и то же.

Он кивнул, но было видно, что изо всех сил шевелит мозгами, а я этим воспользовался и пошел за ней следом.

В результате он принес бутылку по вполне умеренной цене, Эль проверила. Она всегда проверяла счета одним взглядом и потрясающе точно – единственное достоинство, которое за ней признавала наша мать, она считала быстрее, чем касса в супермаркете, и тут же без зазрения совести могла указать на ошибку в пять сантимов, что доказывало, что я только что ошибся на ее счет. Она не знала ни кто такой Людовик XVI, ни тем более Муссолини, про Гитлера знала, но только из-за фамилии матери, она никак не могла запомнить, какой город (кроме Парижа) является столицей какой страны, в любом слове умудрялась сделать по четыре орфографические ошибки, но что касается цифр, тут она была Эйнштейном, я никогда не видел ей равных. Бу-Бу просто на стенку лез, он говорил ей: «1494 + 2767», – и, прежде чем он успевал договорить, она называла правильный результат. Он должен был взять бумагу, карандаш, и, когда все, как обычно, сходилось, он просто бесился. Как-то в воскресенье у него ушла одна минута – он смотрел на часы, а мы были свидетелями, – чтобы объяснить ей квадратные корни, и она тут же стала решать примеры лучше, чем он. Возможно, по цене шампанское было среднее, а по качеству не знаю, судить не берусь. Когда «дирижер» послал нам официанта в красной ливрее и тот принес бутылку в серебряном ведерке и все такое, Эль увидела золоченую этикетку и сказала, что сгодится.

Я спросил, почему вдруг ей вздумалось посмотреть на мои деньги. Эль ответила, что не знает. Она сказала, что если я хочу с ней переспать, то незачем устраивать весь этот цирк, что она готова приступить прямо сейчас, среди тарелок, на виду у всех. Когда они приехали в нашу деревню пять или шесть месяцев назад, она для себя решила, что это буду я и никто другой. Она меня заметила в первый же день. Я был в перепачканном комбинезоне, белой замасленной футболке и красной бейсболке. Вот так.

Насчет бейсболки, наверное, правда, я забрал ее у Микки и долго носил. Он в ней выиграл первую отборочную гонку в Драгиньяне на шестьдесят километров. В памяти сразу же всплыл длинный-длинный бульвар с рекламными растяжками, вдалеке десятка два гонщиков в разноцветных майках, движущихся, кажется, бесконечно, плотной группой, по плавившемуся асфальту, а среди них – Микки, которого я неожиданно узнал по красной бейсболке, он вырвался вперед метров за пятьдесят до финиша и с напряженным лицом пригнулся к рулю, а я орал как сумасшедший, не мог смотреть, меня бил озноб на палящем солнце, а потом из динамиков зазвучало имя победителя, его имя, моего брата-дуралея.

Потом она заговорила о механическом пианино во дворе. Я вообще перестал понимать, о чем идет речь. У нее было очень нежное и внимательное выражение лица, но в глазах снова промелькнула тень, и я вспомнил о сбившихся с пути птицах осенью, в горах. Кажется, я попросту испугался, что она снова взбесится, боялся ей поверить. Я сказал ей, что она врет. Она сказала, что я болван. Мы пили шампанское – она совсем чуть-чуть, отлила половину своего бокала мне – и совсем не ели. Когда появился официант, чтобы забрать почти нетронутые тарелки, она ему сказала, даже не глядя:

– Отвали, мы разговариваем.

Он в недоумении отошел, не понимая, правильно ли расслышал, но мы молчали. Она только взяла меня за руку под столом и покачала головой, не соглашаясь, что наврала.

Потом я говорил о бассейне. Там только что выключили подсветку. Все или почти все посетители разошлись. Нет, не нужно думать, что мне было плохо. Просто раньше я не чувствовал ничего похожего. Она сказала, что не умеет плавать и боится воды. Она ела клубнику, хотела дать мне попробовать из своей ложки. Я отвел ее руку. Я сказал ей, что мне называли тех, с кем она спала. Я не сказал, что это сболтнул Тессари, а так – неопределенно. Она ответила: «Сволочи!»

Отдыхающий – это правда, но никто ее с ним не видел. Аптекарь – вранье, а португалец на перевале – дважды вранье. Больше всего ей понравился португалец, он был худой и «страшно красивый». Он даже предлагал выйти за него замуж, но между ними ничего не было, только один раз, чтобы похвастаться перед друзьями, он прижал ее к дереву и поцеловал в губы.

Я поднял руку, чтобы принесли счет. Эль мне сказала:

– Но вообще какая разница, если мы не были знакомы?

Тогда я посмотрел на нее. Я должен сказать всю правду, чтобы было понятно. Теперь я видел перед собой девушку с накладными ресницами и крашеными волосами, в мятом платье, самую заурядную шлюху, мне даже больше ее не хотелось. Она тоже это поняла. Наверное, из-за выпитого шампанского, но она отреагировала правильно: внезапно уронила голову на стол и расплакалась. Да, мы все идиоты. Да, дрянная кукла, но моя.

Когда мы выходили из ресторана, ей принесли ее шаль, а я, как мог, старался не испортить эту сцену отступления русской армии, мне казалось, что я попал на съемочную площадку, эдакий Марлон Брандо в снегу; вокруг ни души, только казаки в красных черкесках вежливо прощаются с нами. И тут она снова не соврала: как она ни старалась сдерживать слезы, но стоило ей расплакаться, остановиться она уже не могла. Если бы кто-то посмеялся над ней, думаю, я бы врезал ему и все испортил – впрочем, и так уже все было испорчено, дальше некуда, – но они все стояли навтыяжку у выхода, смотрели куда-то вдаль, поверх заснеженной степи, и приглашали нас приезжать к ним снова.

На парковке в лунном свете стояла одна-единственная машина – белый «Ситроен DS» моего шефа. Я открыл Эль дверцу, усадил ее внутрь, обошел машину, чтобы сесть за руль, но она выбежала ко мне, целовала мокрыми губами, говорила, что предупреждала, что она вдрабадан, но я не должен ее бросить. Она сказала:

– Не ставь на мне крест.

По пути она еще долго плакала, почти беззвучно. Эль вытирала щеки платочком, скатанным в комок, мне был виден только ее профиль с коротким носиком, а когда навстречу ехали машины, в ее черных волосах вспыхивали отблески фар.

Потом, мне кажется, она заснула или притворялась, что спит. Я гнал по серпантину, а из головы не выходили ее слова: в первый же день, когда она приехала к нам в деревню, она увидела меня в красной бейсболке Микки.

Мне-то казалось, что я куда-то забросил эту бейсболку еще зимой, до того, как они сюда приехали, но не был до конца уверен. Я постарался припомнить момент их переезда. Такое событие, появление новой семьи, в нашей деревне не может пройти незамеченным. Но я вспомнил только «скорую помощь», которая привезла ее отца, а потом буксовала в снегу, пытаюсь развернуться возле их дома. Однако я понял, что именно меня смущает в ее рассказе – в декабре я не мог быть в футболке и комбинезоне, разве что собирался свести счеты с жизнью. То ли она ошибалась, то ли не хотела назвать точный день, а может, и неделю, когда увидела меня впервые. Она имела в виду весну, но весной, тут я уверен, я уже не носил драную бейсболку Микки. В конце-то концов это не имело значения, кроме того, что она сказала это, слегка приврав, чтобы сделать мне приятное.

В городе не было ни души, и я ехал по улице, включив дальний свет. Когда мы переехали мост и двинулись к перевалу, она вдруг снова заговорила – голос шел откуда-то из ночной темноты. Будто прочитав мои мысли, сказала, что увидела меня в первый раз во дворе моего дома, а под большой липой стояло механическое пианино, и на нем была нарисована краской уже почти стершаяся буква «М». Эль сказала:

– Ты видишь, я не вру.

Я ей объяснил, что этого никак не могло быть ни в день ее переезда в деревню, ни позже. Она не поняла и несколько секунд молчала, мне казалось, что я просто слышу, как она шевелит мозгами. А потом совершенно неожиданно заявила, что рассказывала мне все это в ресторане, но я пропустил мимо ушей: она увидела меня не в тот момент, когда они переезжали, а прошлым летом, когда она впервые попала в деревню. Им нужно было уезжать из Арама, и они искали, где бы поселиться. Пианино стояло у меня во дворе под большой липой – я ее с потом срубил, так что придумать она не могла, – и Эль произнесла:

– Я бы не могла такое придумать.

Я ответил, что это правда, но тогда я не понимаю, почему накануне «ей не очень-то хотелось идти танцевать со мной». Если она положила на меня глаз почти год назад, то должна была ухватиться за эту возможность. Она сказала, как и по дороге туда, что я, мол, хорошо понимаю, что чувствуют девушки, что я просто супер. Ей до жути хотелось потанцевать со мной и все такое, но ведь должна же она была повыпендриваться перед подружками? До самой деревни мы не произнесли ни слова. Она снова сидела очень прямо, отодвинувшись от меня, но при этом я знал, о чем она сейчас думает и что хотела бы мне сказать.

Когда мы подъехали к нашей ферме и она поняла, что я повезу ее дальше, к ней домой, она схватила меня за руку и попросила остановиться. Я затормозил. Все тонуло в темноте, мы тоже, светилась только приборная панель. Она сказала, что хочет побыть сам-знаю-с-кем. Я напомнил, что вчера она предупредила, что не собирается спать со мной за то, что я пригласил ее в ресторан. Она сказала, что сегодня – это не вчера. Я посмотрел на часы под рулем: и вправду, был уже час ночи.

Я зажег свет в машине, чтобы увидеть ее лицо. Она отпрянула от неожиданности. Лицо было зареванное, но чудесное – лицо после дождя. Ни туши, ни помады – все смылось. Осталась только нежность и чуть-чуть печали или страха, или бог знает чего в уголках губ, но жутко много нежности, похожей на упрямство подростка, скрытое во взгляде. Сегодня мне кажется, что в ту минуту она хотела все закончить, достаточно было бы одного слова, чтобы она немного поплакала, попросила меня проводить ее домой, и ничего бы не случилось, но я сделал всего лишь одно движение, чтобы погасить свет, не мог вынести такого ее взгляда, и потушил, и произнес самую большую глупость в своей жизни.

Я сказал: «Ладно».

Жертва

Я танцую с Пинг-Понгом, потому что меня попросил Микки. Вовсе не потому, что я как-то особенно люблю Микки, нет. Но что я его недолюбливаю, тоже не скажешь. Просто я знаю, что ему обязана. И это относится ко всем, не только к нему. Однажды Микки увидел мою мать на дороге и остановил свой желтый

фургон. Это было в феврале этого года. Так она рассказывала. Он спросил:

- Куда вы идете в такую жуткую погоду?

Она ответила:

- В город.

Ей нужно было отнести какие-то бумажки в отдел социального обеспечения, чтобы получить свои гроши. По снегу, и все такое прочее. Если показать в кино, то в перерыве раскупят все бумажные носовые платки. Он сказал:

- Ладно, сейчас развернусь и отвезу вас.

Она ответила:

- Что вы, не беспокойтесь, столько хлопот из-за меня.

Такая вот у меня мамаша, плюнь ей в лицо, а она скажет, не беспокойтесь из-за меня. Чтобы было понятно. Микки ехал домой, в гору. А она, моя бедная дурында, шла под гору, рискуя сломать себе ноги по этому гололеду. Или шейку бедра, как повезет. А Микки сказал:

- Бросьте, развернусь, с меня не убудет.

И вот он разворачивает свой фургон, крутит руль во все стороны, скользит, его заносит, и он, как придурок, застревает поперек дороги.

Два часа. Битых два часа они собирали ветки и всякую дрянь, чтобы вытащить фургон из снега. Микки переживал, но за нее:

- Черт, когда мы приедем, они уже закроются.

В какой-то момент он настолько вышел из себя, что долбанул головой дверцу машины. От ярости. Мать, скорее всего, сказала:

– Вот видите, сколько из-за меня беспокойства.

Короче, свез он ее в город. И еще ждал целую вечность, пока она выйдет из мэрии, подсчитывая свою жалкую пенсию, а потом доставил ее обратно в деревню. Я всегда помню, кому я что должна. И за хорошее, и за плохое. А потом все, мы квиты.

В Блюмэ он попросил меня потанцевать с братом. А сам хотел поиграть в шары с Жоржем Массинем. Отлично. Танцую с братом. Высокий парень, крупнее Микки, пот с него катится градом, говорит, хочет пить. Отлично. Идем что-то выпить у стойки в кафе на площади, торчим там целую вечность, чтобы я наконец догадалась, чем он хочет со мной заняться, а когда я говорю ему, мол, не стоит утруждать себя, он обижается. Отлично. Молча идем обратно через площадь, рожа у него кислая, он бросает меня возле «Динь-дона» и говорит, что должен уехать. Отлично. Дальше я танцую час или два, и тут вдруг самый младший, Бу-Бу, со злобным видом хватает меня за руку и говорит:

– Чем ты обидела моего брата?

Черт возьми! Я ему очень доходчиво объяснила, куда они могут идти – он сам, его братец и вся их семейка. Пока я дошла до его предков, он совсем озверел и орал как оглашенный.

Выхожу наружу, на ступеньки, все и так уже на нас пялятся. А там и Мартина Брошар, и Жижи, и Арлетта, и Муна, и приятели Бу-Бу, и Жорж Массинь с дружками, и еще хрен знает кто. Короче, целое дело. Я говорю этому Бу-Бу, что ничем я его братца не обидела, ну ничем. А он в крик:

– Тогда почему он уехал с таким лицом?

Когда на меня орут, я научилась думать о чем-то постороннем, чтобы не заводиться. Вообще. Не давать сдачи, не кататься по полу, не рыдать. Ненавижу, когда на меня наезжают. Я сказала себе: «Ну погодите, голубчики, потерпите немного, пока мне будет удобнее расквитаться с вами в нужном месте и в нужное время, тогда посмотрите, кто такая – Вот-та».

Я сидела на ступеньках, обхватив голову руками, а Жорж Массинь сказал:

– Что случилось?

А Мартина сказала:

– Она ничего не сделала, вы что, не слышите?

А дружок Бу-Бу сказал:

– Она оскорбила его семью, я слышал.

В результате высказались все. А я разглядывала другой конец площади, где фонтан и платаны, и плевать на всех хотела. Тогда Жорж Массинь взял Бу-Бу за плечо, чтобы тот успокоился, только и всего, но Бу-Бу вырвался, словно до него дотронулся прокаженный, покраснел и заорал:

– А ты не смей ко мне прикасаться! Были бы здесь мои братья, ты бы не посмел! Они бы тебе набили морду.

Жорж устало покачал головой, сел рядом со мной и сказал:

– Господи, ведь мы с тобой отлично ладили. Что случилось? Я в ваших делах совсем не разбираюсь.

Я гляжу на Бу-Бу, он высокий и стройный и вообще до неприличия красивый, и он на меня смотрит сквозь злые слезы. Смотрит, будто терпеть не может, смотрит своими черными глазами, и тут вдруг до меня начинает доходить. Не знаю, как меня осенило, собственными мозгами додумалась или как-то иначе, но уверена, что поняла. Весь этот цирк, который он тут разыграл из-за того, что его братец Пинг-Понг ушел с похоронной миной, эта злость, с которой он на меня смотрел в упор, все только для того, чтобы скрыть что-то другое или сказать мне что-то другое, уж не знаю, что именно. И тут – привет! Дальше я уже ничего не понимаю, как пришло, так и ушло.

Бу-Бу отходит от нас и идет по площади, руки в карманах. Жорж Массинь говорит:

– Наверняка надрался. В этом все дело. Кто видел, как он пил?

Я встаю и говорю:

– Я с ним потолкую и все улажу. Занавес.

Я слышу, как у меня за спиной они возвращаются на танцплощадку, только Жорж Массинь остался сидеть на ступеньках, а может, и нет, потому что на него смотрят, а ему неловко. Мне наплевать на тех, кто смотрит. Я стараюсь аккуратно идти по булыжнику и не подвернуть ногу.

Бу-Бу стоит не шевелясь, прислонившись к платану. Делает вид, что смотрит, как играют в шары. Я говорю:

– Знаешь, Бу-Бу, я ничего твоему брату не сделала, могу рассказать, как было.

Ну просто, как в кино. Я вся такая сладкая, как мед, только легкий акцент а-ля моя мамаша. Но единственное, что он соизволил сообщить мне, что его зовут Бернар, а не Бу-Бу. И идет к стене, огораживающей площадь, а за ней – обрыв. Он садится, на меня смотреть не желает, но я сажусь рядом. Ну, не рядом, а наискосок и крепко держусь, боюсь свалиться вниз метров на сто. Мы молчим до скончания века. А потом он вдруг говорит:

– У меня классный брат, ты просто его не знаешь. Он хотел, чтобы ты его узнала, а ты не поняла.

И тут его понесло – долдонит как заведенный про своего братца. Он зовет его Пинг-Понг, как все в деревне. Я даже не слушаю. Просто смотрю на него. У него светлые, довольно длинные волосы, довольно длинный нос, большие темные глаза с золотистыми крапинками, ресницы на километр, не меньше, губы, как у девчонки, которые хочется целовать, выдающийся вперед подбородок с ямочкой, очень длинная шея, очень длинное туловище, очень длинные ноги, и, чтобы любить его целиком, потребуется не меньше десяти заходов.

А потом, именно так, на стене все и произошло. Он трещал без умолку, и вдруг я услышала, что он упомянул механическое пианино. Я сказала:

– Что? Я не расслышала.

Он сказал:

- Что именно ты не расслышала?

Я сказала:

- Ты говорил про механическое пианино.

Он бросал камешки в пустоту за спиной, потом повернулся ко мне, словно не сразу врубился. Он мне сказал:

- Ах да! Пианино отца. Его бросили во дворе под липой. Пошли дожди, ужас, что с ним стало. Я не выдержал и поднял скандал. Пинг-Понг затащил пианино в сарай, а когда вышел, посмотрел на липу, будто увидел впервые. В тот же день схватил бензопилу и срезал. Правда, странно?

Я покачала головой, чтобы сказать «нет» или «да», сама не знаю. Улыбнулась, как идиотка, или что сделала, не помню что. Ах да, камешки. Я тоже стала подбирать с земли камешки.

Я снова посмотрела на Бу-Бу, когда уже прошло много-много времени и сердце перестало колотиться, он был занят, наблюдал, прищурившись, за игрой в шары и совсем не обращал на меня внимания. Убийственное солнце этим летом. Я вижу только большие темные тени на площади, слышу стук шаров и чувствую комок в горле. Я говорю:

- А как оно выглядит, это пианино?

Он говорит, не глядя на меня:

- Легко представить, после того как на него вылилось столько дряни.

Я спрашиваю:

- А там спереди есть золотая буква «М»?

Тут уже он смотрит на меня:

- Откуда ты знаешь?

Я молчу. Он говорит, чтобы пояснить:

- Оно называется «Монтеччари».

Каждое слово отдается у меня в голове очень отчетливо. Черные тени на залитой солнцем площади. Красные холмы далеко на горизонте. Все сходится. Я говорю:

- А когда умер твой отец?

Он говорит:

- Мне было пять лет.

Сейчас ему семнадцать, выходит, он умер в 1964-м. Считаю я быстрее всех на свете. Это плюс моя задница – все, чем наделил меня Господь. Я встаю. Медленно бросаю камешки обратно на землю – один за другим, чтобы что-то делать. Говорю, хотя горло перехватило:

- А ему было сколько, когда он умер?

И этот сукин сын своего подлого мерзавца отца отвечает:

- Сорок девять, даже пятидесяти еще не было.

А я говорю себе: «Вот так. Ты не поверишь, бедная моя Элиана, но все именно так». Я отворачиваюсь, чтобы он не видел моего лица. Не знаю, как я смогла устоять на ногах.

Вечером мы всей компанией едем в город поесть пиццу. Я смеюсь. Все время начеку, чтобы выглядеть как ни в чем не бывало. В какой-то момент Жорж Массинь говорит мне:

- Ты что-то очень бледная.

Я говорю:

- Просто устала.

Бу-Бу с нами нет, но это неважно, он до сих пор у меня перед глазами - на площади, на этой стене над обрывом. Когда я вставала, я могла толкнуть его в грудь обеими руками, и он полетел бы в пропасть, как случается во сне со мной. И вот сейчас лежал бы изувеченный на кровати. И ему сколотили бы гроб. И все они сейчас уже убивались бы по нему.

В полночь мы с Жоржем прощаемся с ребятами, они расходятся к своим мопедам и машинам. Мы едем два километра на его грузовичке, а потом Жорж останавливается на какой-то дороге и предлагает залезть в кузов. Я говорю:

- Не сегодня. Мне не хочется.

Он скрипит зубами, но везет меня домой.

Дурында еще не спит. Сидит в кухне, шьет мне платье, лампа освещает ее красивое лицо. Сначала я говорю:

- Черт, как ты мне осточертела.

Потому что она спрашивает, где я была. Потом хватаю платье из тончайшей, словно шелковой ткани в голубой и бирюзовый рисунок и разрываю все - ткань, швы, ее, себя, - все. Она бормочет всякую чушь по-немецки своим спокойным и таким красивым голосом, стоит, выпрямившись, возле стола в своей обычной позе, сцепив руки на животе, как всегда, сейчас из глаз польются слезы - сколько я их перевидала за свою жизнь. Я кричу:

- Черт возьми! Ну пошевелись же! Что мне сделать, чтобы ты хотя бы раз в жизни мне врезала, ну хотя бы раз! Понимаешь? Съездила мне по роже, понимаешь?

А она, дура безмозглая, как водится, не понимает, застыла, как статуя, в глазах слезы и словно не знает, кто я такая и что с нами произошло. Наконец я ее усадила. Говорю:

- Прошу тебя, успокойся. Успокойся.

Встаю на колени на пол у ее ног, прижимаюсь. Говорю:

- Мама! Мамочка!

Она всегда стесняется, поэтому я сама расстегиваю ей рубашку и лифчик. Больше всего я люблю запах ее тела. Я прикасаюсь губами к ее правой груди, потом к левой, опять к правой, но она на меня не смотрит, ее взгляд направлен куда-то в пустоту, она гладит меня по голове и что-то нежно шепчет, и готово, я снова чувствую себя младенцем, которого любимая мамочка кормит грудью.

Она всегда заканчивает это сама. Встает и заботливо поддерживает мне голову, чтобы я не грохнулась о стул. Я слышу ее удаляющиеся шаги, она поднимается к себе в комнату. Я больше не плачу. Встаю, иду к раковине, открываю кран, чтобы ополоснуть лицо водой, вижу себя в висящем зеркале – ужасный вид, покрасневшие глаза, растрепанные волосы, короче, это я. Говорю себе шепотом: «Не волнуйся. Я упрямая. Упрямее всех, вместе взятых. Ты увидишь, они мне дорого заплатят». Вода по-прежнему течет из крана. Струя прохладной воды блестит и разлетается тысячью искр. Я говорю Эль, отраженной в зеркале: «Ты успокоишься и хорошенько подумаешь. Ты должна их перехитрить. Тебя никто не торопит».

Я просыпаюсь, снова вижу Бу-Бу на стене в Блумэ, неподвижно лежу в кровати, размышляю. На подушку прямо возле глаза садится муха. Я шевелю пальцем и сгоняю ее. Я думаю о Пинг-Понге. Главное, что он самый старший из троих. Тридцать, тридцать один? Микки был еще совсем маленьким, когда это случилось. О Бу-Бу говорить не приходится, он тогда еще не родился. Пинг-Понг единственный, кто может прояснить это дело. У него большие сильные руки. Поэтому, это главное, что я запомнила.

Мать открывает дверь и говорит:

– Я принесу тебе кофе.

Я протягиваю к ней руку, она подходит и садится рядом. Она меня не целует. Смотрит куда-то в пустоту. Я спрашиваю:

– Какое это было число?

Она говорит:

– Что, какое число?

Но она понимает, о чем я. Я говорю:

– Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду. Это было в ноябре тысяча девятьсот пятьдесят пятого года.

Она подавленно качает головой, бормочет что-то по-немецки и пытается встать. Я хватаю ее за запястье и говорю громче:

– Какое это было число?

Она смотрит на меня умоляюще, боится, что услышит придурак в своей комнате в конце коридора, и говорит:

– Не помню, какое число. Примерно в середине месяца. В субботу.

Я ей говорю:

– Я найду календарь за тысяча девятьсот пятьдесят пятый год.

И мы сидим так вдвоем, я беру ее за руку, но она все равно смотрит в пустоту. На ней темно-синий передник, она утром должна идти убирать к мадам Ларгье. Она осторожно высвобождает руку и уходит.

Через минуту я выхожу к ней на кухню в белом махровом халате, который она выписала для меня по каталогу «Труа сюис»[28 - Популярная французская

фирма продажи одежды по каталогу Trois suisses (фр. «Три швейцарца»), существующая с 1932 г.], иначе я бы ей плешь проела. Она говорит:

– Я хотела отнести кофе тебе в комнату.

Я нежно обхватываю ее сзади – умею, когда хочу, – и говорю очень тихо:

– Ты же не будешь против, если я их всех переловлю и накажу?

Она дрожит у меня в руках, как дерево на ветру. Больше всего я люблю ее запах. Когда мне было двенадцать или тринадцать, я доставала из грязного белья ее комбинацию или трусы, надевала и спала в них, чтобы чувствовать ее рядом. Я говорю:

– Так ты не будешь возражать, правда?

Она кивает, не поворачиваясь, но я ее поворачиваю лицом к себе, а она боится смотреть мне в глаза. Я говорю:

– Тебе стыдно? Тебе не должно быть стыдно.

Она очень красивая, у нее нежная свежая кожа, длинные светлые волосы, которые она подбирает на затылке, а впереди, спадая прядями, они обрамляют ее лицо, как у Мадонны. Только руки выдают ее возраст – сорок восемь лет, – они огрубели и потрескались от стирки. Я говорю:

– А ты видела когда-нибудь папашу Монтеччари живым?

Сначала она удивлена и мотает головой, что нет. Он умер больше десяти лет назад, а мы живем в деревне меньше года. Но потом она понимает и отшатывается от меня с перепуганным видом. Она говорит глухим голосом:

– Ты сошла с ума! Я знаю мадам Монтеччари и трех ее мальчиков. Славные люди.

Я говорю:

– Я никого не обвиняю. Ты не поняла, что я имею в виду.

Ей скажешь хотя бы слово или соврешь – и вот она уже успокоилась. Она еще секунды три смотрит мне прямо в глаза, потом отворачивается к плите, наливает кофе в мою чашку, на которой написано «Эль». Кладет полтора кусочка сахара, второй ломает в руке.

Она уходит на все утро. Я раздумываю, как мне со всем этим справиться. Я принимаю ванну на кухне, на край ванны из оцинкованной жести прямо возле моего глаза садится муха. Я шевелю пальцем, и она сразу же улетает. Я думаю о Пинг-Понге, у которого большие и сильные руки.

Отлично. Я беру секатор для роз в одну руку, колесо от велосипеда в другую и говорю себе:

– Не торопись. Потом отступать будет некуда.

Я прокалываю покрышку, а когда мне удастся вытащить оттуда секатор, становится понятно, что она безнадежно испорчена.

Затем Эль идет в мастерскую к Пинг-Понгу починить велосипед. Потом он привозит ее к себе во двор. Она надела расклешенную бежевую юбку, темно-синюю рубашку-поло с вышитым дельфинчиком на груди. Она надела белые кружевные трусики, чтобы ему было все видно. У нее уже хорошо загорели ноги, а кожа на внутренней стороне бедер такая нежная, что он по ошибке берет испорченную покрышку, совсем потерял голову. Наконец, стоя у окна, она стаскивает с себя рубашку и демонстрирует ему свою грудь во всей красе, он стоит навтыжку за колючей изгородью, как оловянный солдатик, и она спрашивает себя, действительно ли он сын этого негодяя или просто бедный олух, которого лучше оставить в покое. Когда я чувствую, что даю слабину, то настолько ненавижу себя, что готова убить. Дальше дорога, ресторан. Пинг-Понг не может сидеть спокойно. Когда машина «Ситроен DS» Генриха Четвертого поднимается по склону, он так сильно налегает на руль, будто готов сам подтолкнуть эту таратайку.

За столом он разглагольствует, как умеет, но всегда об одном и том же. Кстати, совсем не о том, о чем я думала: «Дашь ты себя трахнуть или не дашь?» Совсем не об этом. Не знаю о чем. Мне было приятно и грустно. Да, еще у него нет золотого зажима для денег, он просто держит смятые франки в кармане брюк. Я подумала: «Наверное, зажим достался Микки или Бу-Бу. А может, мамаша хранит его где-то в шкафу, все-таки ценность». Я никогда этого зажима не видела, но уверена, попадись он мне на глаза, я бы его узнала. Он выглядит как монета в двадцать франков, Наполеон[29 - Наполеондор (фр. Napoleon d'or, букв. «золотой Наполеон»), или Наполеон, – золотая монета с профилем Наполеона Бонапарта 900-й пробы достоинством в 20 франков, которая выпускалась во Франции с 1803 по 1914 г.], посаженная на два золотых круга, которые защелкиваются, как замок. По-моему, я всегда боялась воочию увидеть его.

Пинг-Понг – широкоплечий брюнет с мускулистыми руками. У него наивное выражение лица, глаза детские, не соответствуют его возрасту, и мне нравится его походка. Но больше всего меня заводят его руки. Я смотрю на них, пока он ест, и думаю, что через час или еще раньше они обнимут меня, будут всюду трогать, мне бы хотелось, чтобы было противно, но чувствую совсем иначе. Презираю себя. Или же на меня так подействовало шампанское. Выпила-то я немного, но пить я вообще не могу: сразу же начинаю реветь, наверное, это плачет маленькая девочка, которой бы мне хотелось стать, честное слово, не знаю.

На обратном пути в машине я уже редела белугой. Я сказала себе, что он где-то остановится, откинет спинки кресел и начнет меня обрабатывать. Я не буду сопротивляться, а потом схвачу камень побольше и хрястну ему по башке. Но он ничего такого не сделал. Славный какой Пинг-Понг, ему небезразлична Эль, он пытается понять, чего же она хочет. Дурачок. В какой-то момент прицепился ко мне с этой красной бейсболкой. Мне про нее как-то сказала Мартина Брошар, не помню даже, в какой связи. Голова-то у меня быстро соображает. Я сказала ему, что видела его в прошлом году в этой бейсболке, он, мол, прослушал, что я говорила в ресторане. Он все схавал. Мне кажется, ему даже нравится, что я его держу за дурачка. Ему хочется быть именно таким, каким я его представляю.

Потом мы проехали мимо его дома, но он не остановился, пришлось мне попросить. Бывает же такое! Наконец идем по двору, держась за руки, и я чувствую, что ему неохота вести меня в дом из-за мамы и всего святого семейства. И мы с ним произносим в один голос: «Пошли в сарай». Внутри темно. Он говорит:

– Тут есть лампочка, но она не работает.

Проходит целая вечность. Потом:

– Вообще-то даже лучше, что она не работает. Когда работает, ее потом не выключить. Нужно отсоединить провода, если не хочешь разориться на электричестве.

Наконец он оставил меня здесь, а сам пошел в дом за керосиновой лампой.

Пока его нет, я нахожу наверху при свете, просачивающемся снаружи, колченогую, покрытую пылью кровать. Он говорит, забираясь туда, что это свадебное ложе его тетки.

В круге света, который отбрасывает лампа, пока он смотрит на меня снизу, должно быть, я в своем розовом платье с юбкой-конусом похожа на бабочку. Он принес две чистые простыни. Когда они с Микки были маленькими, так он сам рассказывает, они играли в сарае, и теткина кровать становилась колесным паромом, как когда-то в Америке. Он мне говорит:

– Когда мы плыли вверх по Миссисипи, две ножки кровати и большая часть матраса остались в пасти у крокодилов.

Он старательно стелет простыни, но я не двигаюсь, сцепив руки за спиной. Керосиновую лампу он поставил на старый стул. Я вижу внизу, возле двустворчатой двери, что-то массивное и темное – механическое пианино. Мне кажется, что оно вовсе не такое красивое и гораздо больше и тяжелее, чем описывала его мать. Я не хочу на него смотреть, хочу забыть, что оно здесь стоит. Пусть Пинг-Понг ласкает меня, а потом отымеет. На душе у меня очень грустно.

Пинг-Понг садится на кровать и притягивает меня к себе. Он смотрит на меня снизу вверх, и в его взгляде много нежности. Он хочет что-то сказать, а потом нет, передумал. Он залезает мне под юбку. Я стою перед ним и не мешаю себя ласкать. Он хочет снять с меня трусы, и я поднимаю сначала одну ногу, потом другую, чтобы он их стащил. Когда он засовывает мне руку между ногами, он понимает, что я его хочу. Тогда он опрокидывает меня на себя, по-прежнему прижимая к себе, а другой рукой расстегивает застежку платья, ищет мои

грудь. Вот-та лежит на нем плашмя, с голой задницей, словно дожидаясь, чтобы ее отшлепали, она и видит себя такой – возбуждающе-беззащитной, а сама мыслями где-то далеко. И от каждого толчка, когда ей следовало бы кричать и стонать, я поглядываю на нее совершенно безучастно – нет ни отвращения, ни презрения, совсем ничего – и говорю ей:

– Что же с тобой делают, бедняжка Элиана, что же с тобой делают?

Мне совсем не смешно, говорю это просто так, не задумываясь, чтобы она могла дойти до конца наслаждения и забыть об этом.

Я вдыхаю воздух через рот. В сарае пахнет старым деревом, старыми травами, их здесь сушат. Пинг-Понг спит на другом конце кровати, повернув голову ко мне. Он храпит не сильно. Чуть-чуть. На груди у него растут волосы. Красивые губы, как у всех братьев. Я лежу голая под простыней, он тоже, и у меня болит затылок. Моя мать наверняка не спала, я-то ее знаю. О придурке говорить не будем. Мне хочется пи?сать, и я чувствую себя грязной.

Я тихонько встаю, стараясь не разбудить Пинг-Понга. Через слуховое окно просачивается свет. Лампа выключена. Я спускаюсь по лестнице, по-прежнему очень тихо. Теперь я его хорошо вижу: это сгнившее механическое пианино. По словам матери, оно, скорее всего, было зеленым, об этом можно догадаться по кусочкам облупившейся краски. Но сейчас оно черное и все в трещинах из-за того, что стояло на улице. Большая заводная ручка, вероятно, когда-то была золотой, но теперь тоже черная. Можно разглядеть букву «М», выгравированную на крышке. Замысловатую «М» с завитушками с каждой стороны, я обвожу их кончиками пальцев.

Снаружи голубое утро. Мадам Монтеччари застыла на пороге кухни в черном переднике и смотрит на меня. Мы долго смотрим друг на друга, я – совершенно голая. Потом я выхожу во двор, стараясь не наступить на острые камешки под ногами. Мне немного холодно, но приятно. Когда я присаживаюсь, чтобы пописать в самом конце деревянной стены сарая, мадам Монтеччари резко поворачивается и исчезает.

Чуть позже я лежу рядом с Пинг-Понгом, а он просыпается от шума грузовика во дворе, который не заводится. Он говорит:

– Это Микки. Он посадит аккумулятор, пока догадается, что забыл включить зажигание. Вечно одно и то же.

Проходит целая вечность, и грузовик трогается с места. Пинг-Понг не находит свои часы, он куда-то их сунул во время любовной баталии, но говорит:

– Микки везет Бу-Бу в коллеж, значит, сейчас восемь или четверть девятого, что-то в этом духе.

Он целует меня в плечо и говорит:

– Я вообще-то открываю мастерскую в половине восьмого.

Потом натягивает брюки и идет в дом за кофе. Я встаю, когда он уходит, надеваю розовое платье. Теперь я смотрю на него, и мне стыдно. Я скатываю трусы в маленький комочек и кладу к себе в сумочку, я их носила весь вечер. Я не люблю надевать что-то по второму разу, даже если надевала всего на пять минут, не считая вещей матери, когда я была маленькой, но они всегда были чистехонькие и лишь слегка пахли ею.

Пинг-Понг приносит на подносе одну-единственную чашку и кофейник. Говорит, что свою уже выпил на кухне. Я говорю:

– О чем ты думал, пока варил кофе?

Он до пояса голый. Смеется и говорит:

– Вот странно, думал о тебе.

Я говорю:

– А что ты думал обо мне?

Он пожимает плечами и садится на кровать. Смотрит, как я наливаю кофе в чашку на стуле, куда он поставил лампу. Потом спрашивает, и голос у него звучит необычно, еле слышно:

- Скажи, ты еще придешь?

Мне хочется сказать, мол, посмотрим, я подумаю, но к чему все эти слова? Я говорю:

- Если тебе захочется.

Подхожу к нему, и, как ночью, он лезет мне под юбку. Он удивлен, что на мне нет трусов. По глазам вижу, что он хотел бы все повторить. Говорю, что нельзя, что он и так уже опоздал. Он настаивает, но я отвожу его руки и говорю «нет». Затем он надевает свой черный свитер и отвозит меня домой на DS. Я стою у двора, пока он разворачивается на кладбище, а когда он проезжает мимо и смотрит на меня, я не двигаюсь, даже руки не поднимаю, просто стою.

Мать на кухне возле двери, и как только я вхожу, получаю пощечину, от которой лечу прямо в кастрюли, висящие на стене. Она не поднимала на меня руку по крайней мере три года. Правда, нужно заметить, что я впервые не ночевала дома. Пока я прихожу в себя, получаю еще одну пощечину и еще одну. Она молча колотит меня, я, как могу, закрываюсь руками, слышу, как она тяжело дышит. Я падаю на колени, и тогда она останавливается. Я уже не знаю, кто это сейчас дышит, она или я. У меня болит затылок, из носа течет кровь Я говорю ей:

- Шлюха.

Она снова бьет меня, и я уже лежу на полу, выложенном плитками. Я говорю:

- Шлюха.

Она садится на стул, грудь у нее вздымается при каждом вздохе, она в упор смотрит на меня, потирая себе запястье, наверное, вывихнула. Я смотрю на нее сквозь волосы, упавшие мне на лицо: не двигаясь, прижавшись щекой к плитке пола. Я говорю:

- Шлюха.

Три ночи подряд Пинг-Понг возвращается в сарай вместе с Эль. Он ее раздевает, раздвигает ей ноги на теткиной кровати, толчками забивает в нее свой огромный член, закрывает ей рот рукой, чтобы не кричала. Вот так. Потом три дня подряд буквально летает в своей мастерской. Верит словам Эль, будто она никогда не испытывала ничего подобного, что это потрясающе и она умирает. Каждое утро я спускаюсь по приставной лесенке, пока он еще не проснулся, трогаю пальцами, едва касаясь, это пианино. Мадам Монтеччари всегда на посту, будь то шесть утра или семь. Она стоит на пороге кухни в своем черном переднике или в синем, провожает меня взглядом до конца стены сарая, где я присаживаюсь пописать. Тогда она резко поворачивается и идет к себе на кухню.

Когда я возвращаюсь домой, мать меня больше не лупит. Она сидит у стола и снова шьет платье, которое я разодрала. Она хорошо меня знает, потому что любит. Она боится за меня, но знает, до чего я упрямая, что если меня заставить свернуть с дороги, то я могу пойти направо или налево, но все равно приду туда, куда собиралась. Но мне никогда не приходилось доказывать ей это, как сейчас. Мне нужно будет найти двух других подонков. Я не буду торопиться. Они получают то, что заслужили. Их семьи еще поплачут.

Я говорю матери:

– Посмотри на меня.

Но она не желает. Она думает, что я давно обо всем этом забыла. Я обнимаю ее сзади, прижимаюсь щекой к ее спине. Я говорю:

– Знаешь, мне кажется, мы хорошо ладим с Пинг-Понгом. Я встречаюсь с ним только поэтому.

Не знаю, верит ли она мне. Наверху придурок услышал, что я вернулась. Он вопит уже четверть часа. Требует свой суп. Требует, чтобы его повернули. Требует, чтобы с ним поговорили. Да мало ли что там еще. Поди разбери. Да, они будут наказаны, и их семьи еще поплачут.

И так до пятницы. В пятницу рано утром Микки в веселом настроении колотит кулаком в дверь сарая. Он говорит:

- Эй, послушай, она перебудила всю деревню.

Он точно не один, можно догадаться по смеху и голосу. Пинг-Понг лежит на Эль, его член у нее внутри, он опирается на руки. Он кричит брату:

- Черт возьми! Подожди, вот я сейчас спущусь, ты у меня попляшешь!

Слышен смех, потом Микки уходит, и становится тихо. Пинг-Понг делает еще несколько толчков бедрами, чтобы довести дело до конца, но больше не получается. Он падает на спину рядом со мной и говорит:

- Господи, чем я такое заслужил?

Я говорю, что Микки просто хотел подурачиться. Он не отвечает, продолжает злиться на братьев, заложив руку под голову.

Чуть позже я заснула. Он мне говорит:

- Пошли, в конце концов это глупо.

Я ничего не спрашиваю, надеваю юбку, рубашку-поло, босоножки, скатываю трусики в комок, зажимаю в кулаке, и мы идем. Он ведет меня по двору. Наверное, часов семь или половина восьмого. Все сидят на кухне - Микки, Бу-Бу, мамаша и глухопомешанная тетка. Пинг-Понг с вызовом говорит:

- Привет!

Никто не отвечает. Он говорит мне:

- А ты садись сюда.

Я сажусь рядом с Бу-Бу, который макает тост в кофе и на меня не смотрит. Мамаша Монтеччари стоит у плиты. Все молчат до окончания века. Пинг-Понг ставит передо мной чашку кофе. Открывает шкаф. Ставит передо мной масло, мед и конфитюр. Бросает Микки:

- Если хочешь что-то сказать, валяй.

Микки на него не смотрит и не отвечает. Пинг-Понг поворачивается к матери и говорит:

- А тебе есть что сказать?

Та отвечает, глядя на мою руку:

- Что она стащила в сарае?

Я гордо отвечаю:

- Ничего не стащила. Это мои трусы.

Даже протягиваю руку, чтобы она могла разглядеть. Она поджимает губы и отворачивается к плите. Слышно, как она бурчит, стоя к нам спиной:

- Надавать бы ей по первое число.

Пинг-Понг садится возле меня со своей чашкой. Говорит матери:

- Послушай, оставь ее в покое.

Та спрашивает:

- Она что, здесь останется?

Он говорит:

- Она здесь останется.

Занавес. Бу-Бу быстро смотрит на меня и продолжает завтракать. Микки говорит:

- Нам уходить через пять минут.

Тетка мне улыбается, словно я пришла в гости, она совсем сбрендила. Пинг-Понг делает мне тост с конфитюром. Он говорит:

- Я пойду к ее родителям и попрошу разрешения.

Четверть часа спустя он стоит перед моей матерью на пороге дома, она уже умылась и оделась. Он переступает с ноги на ногу и говорит:

- Мадам Девинь, не знаю, как вам лучше объяснить...

Будто бедняжке нужны его объяснения. Я говорю и для него, и для нее:

- Я буду жить у Монтеччари. Заберу свои вещи. Идем, Робер.

Мы все втроем поднимаемся наверх. Он помогает мне выдернуть кнопки, которыми прикреплены к стене фотографии и плакат с Мэрилин. Моя комната белого цвета, ее полностью обставила мать. Он говорит:

- В нашем доме у тебя такой не будет.

Я складываю платья и белье в два чемодана. Мать не находит себе места, но не произносит ни слова.

Когда мы выходим из дома, я говорю:

- Черт! Моя ванна.

И иду за ней в чулан. Говорю Пинг-Понгу:

- Тебе все не унести.

Он отвечает:

- Скажешь тоже.

И вот он идет – цинковая лохань на голове, внутри мои чемоданы. Я говорю матери:

– Я люблю тебя больше всех на свете.

Она отвечает:

– Вот и нет. Это я люблю тебя больше всех на свете. Прощаю тех, кто причинил нам зло, раз ты есть, и благодарю Бога за то, что люблю тебя больше всех на свете.

Я ей говорю, вся на нервах, и протягиваю к ней руки:

– Я же буду здесь, в конце деревни. Ты же знаешь, где меня найти?

Но она качает головой и говорит мне «нет».

Когда мы с Пинг-Понгом идем по улице, это просто кино. Все, буквально все высыпали из домов с заспанными рожками, якобы подышать воздухом. Пинг-Понг шагает впереди, придерживая лохань на голове, а в ней – мои чемоданы. Я иду следом, в метре от него, несу своего мишку, фотографии, книгу и скатанный в трубку и стянутый резинкой плакат с Мэрилин. Когда мы проходим мимо Пако, говорю довольно громко, чтобы услышали:

– Представляешь, что у них там стряслось, если они вскочили в такую рань!

В мастерской шеф Пинг-Понга стоит у бензоколонки и говорит:

– Возьми пикап, справишься быстрее.

Но Пинг-Понг говорит:

– Все нормально. Приду через четверть часа.

Его Жюльетта, само собой, торчит у окна, но только запахивает халат, откуда вываливается ее внушительная грудь, и провожает меня недобрый взглядом. Не

исключаю, что Пинг-Понг с ней разок переспал. А может, это она как раз думает, что ее муженек переспал со мной, поди разбери... Меня подмывает остановиться и сказать ей, что до этого почти что дошло как-то одним зимним вечером, но Генрих Четвертый – славный малый, а она его тогда со свету сживет.

Но самый большой кретин – это Брошар. И жена его – такая же кретинка. Он спрашивает Пинг-Понга:

– Что, переезжаем?

Пинг-Понг отвечает:

– Как видишь.

В эту минуту она выходит из кафе и спрашивает Пинг-Понга:

– Что, переезжаем?

Пинг-Понг отвечает:

– Спросите у мужа.

И эта дура набитая поворачивается к мужу и говорит мерзким тоном:

– Почему у мужа? Ты вообще тут при чем?

Клянусь, если захочешь послушать, как порют чушь, то в этой деревне даже телик включать не нужно.

В доме Монтеччари мамаша бесится от злости, но все как воды в рот набрали. Поднимаемся наверх, и Пинг-Понг скидывает оба чемодана на кровать, а лохань ставит в углу комнаты. На стенах убогие обои, мебель допотопная, но чисто. Я закрываю за собой дверь, чтобы показать мамаше, которая идет за нами по коридору, что отныне ей сюда вход воспрещен. Пинг-Понг говорит:

– Давай, устраивайся, а мне пора на работу.

Я спрашиваю:

– Можно, я повешу на стены фотографии и плакат?

Я так мило спрашиваю, совсем без акцента, с мишкой в руках, что он смеется, поднимает юбку, чтобы пощупать мне попку. И говорит:

– Делай все, что хочешь. Ты у себя дома.

Я чувствую, что ему надо уходить, но он топчется на месте, явно что-то хочет сказать, но потом, после телевизионной паузы, решается и выдает:

– Хочу сказать, что, когда мы вдвоем, мне нравится, что ты не носишь трусы, но когда ты так ходишь без них по деревне, мне это неприятно – никогда ведь не знаешь, а вдруг кто-то заметит.

Я говорю, что просто не успела надеть чистые. Он стоит как столп, с дурацким видом. Я говорю:

– Хорошо, прямо сейчас и надену.

Он счастлив, улыбается, а когда улыбается, то выглядит моложе своих тридцати, он меня возбуждает, и мне жаль, что он сын своего мерзавца-отца. Тогда я тут же начинаю себя ненавидеть и думаю: «Подожди-ка, если его это задевает, выходит, он сам балдеет, когда я хожу с голым задом».

Но я все равно улыбаюсь ему ангельской улыбкой и изо всех сил прижимаю к себе плюшевого мишку.

Все утро я прикалываю к стене свои фотографии, освобождаю один ящик комода и половину зеркального шкафа, чтобы разместить свои вещи. Ни в белье Пинг-Понга, ни среди других вещей не нахожу золотого зажима для денег. Читаю дурацкие письма. От приятелей по армии. От девушек. Особенно от одной по имени Марта, учительницы в Изере. Он с ней спал, и она описывает длинными фразами свои ощущения. Чтобы он понял, что она себя трогает, когда думает о нем, она несет какой-то бред про всю систему национального образования, причем раза четыре кряду, потому что конверт дико толстый, должно быть,

Пинг-Понгу пришлось доплачивать за перевес. В одном письме она говорит, что всякое терпение имеет границы и больше она ему писать не будет. А потом – целая лавина писем. У меня уже не хватило духу развязать вторую пачку. Ставлю свой кубок «Мисс Кемпинг» на комод и спускаюсь вниз.

На кухне мамаша и тетка лущат горох. Я говорю:

– Мне нужна горячая вода для ванны.

Молчание. Я приготовилась услышать от мамы, что все в доме моются над раковиной даже в дни свадьбы и первого причастия, но ничуть не бывало. Она, не пикнув, встает со стула, не глядя на меня, берет таз и дает мне. Потом говорит:

– Разбирайся сама.

Грею воду на плите. Мне тяжело поднимать полный таз. Она понимает, даже не повернув головы, и говорит:

– Не надоест ходить вверх-вниз, пока наполнишь свою лохань?

Я говорю, что дома принимаю ванну на кухне, но здесь не хочу им мешать. Она пожимает плечами. Стою, не двигаясь, до второго пришествия. Тогда она говорит:

– Еще не хватало, чтобы ты залила мне весь пол наверху. Тогда прости-прощай мой паркет.

Ну, я стаскиваю вниз свою лохань, задевая о стены, потому что лестница очень узкая, и наполняю водой, поставив у плиты. Когда в этом доме открываешь кран, дрожат все стены. Я наливаю четвертый таз, и старая карга говорит:

– Хорошо еще, что за воду не нужно платить.

И при этом не поворачивает головы, продолжая выковыривать свой горох.

Потом я раздеваюсь, и тут глухопомешанная тетка, словно с луны свалившись:

- Боже правый, она что, будет мыться прямо здесь?

И передвигает стул, чтобы меня не видеть. Мамаша, наоборот, изучает меня с ног до головы, когда я разделась. Пожимает плечами и возвращается к своим овощам, правда, замечает:

- Да, тут уж ничего не скажешь, хороша чертовка.

И больше ни гу-гу.

Она выходит отнести стручки на корм кроликам и закрывает дверь кухни - то ли по привычке, то ли чтобы я не простудилась, поди разбери. Возвращается, поднимается наверх и выносит мне махровое полотенце. Я говорю:

- У меня есть свое, в комнате.

Она отвечает:

- Неважно, стирать здесь, похоже, все равно придется мне.

И пока я вытираюсь, стоя в своей лохани, слышу:

- Мать у тебя славная женщина. Но тебя к труду не приучила. Достаточно взглянуть на твои руки.

Она глядит на меня в упор, вокруг глаз у нее сетка морщинок, но смотрит не зло, а так, холодно.

Я говорю:

- Мама воспитала меня, как смогла. Но ей бы не понравилось, что вы постоянно говорите со мной в таком тоне. Она бы вам сказала, что если вы не хотите, чтобы я у вас жила, то не стоило вашему сыну приезжать за мной.

Она не отвечает битый час, пока я вылезаю из лохани и вытираю ноги. А потом говорит:

– Ничего, это ненадолго.

Она берет таз, вычерпывает им воду и сливает в раковину. Я сдерживаюсь, чтобы ей не ответить, собираю свои вещички и иду в комнату. Всю оставшуюся жизнь валяюсь на кровати, плююсь в потолок и про себя называю ее старой каргой. Все, решено – прежде чем она сумеет от меня избавиться, она заплатит за мое подвенечное платье. Немыслимое, все в кружевах. И выстирает его в собственных слезах. Уж я постараюсь.

Днем около пяти выхожу из дома, сажусь возле родника, листаю какой-то допотопный номер «Мари-Клэр»[30 - «Мари-Клэр» – международный ежемесячный журнал для женщин, выходит во Франции с 1937 г., а с 1941 г. в Великобритании. В настоящее время печатается во многих странах и на многих языках.] и ем хлеб с шоколадной пастой. Старая карга уходит в своем черном пальто. Кричит мне издали:

– Отнесу яиц твоей матери! Передать ей что-то?

Я мотаю головой. Жду минут пять, чтобы убедиться, что она точно ушла, и возвращаюсь в дом. Мать наверняка угостит ее кофе, будет как сумасшедшая совать ей деньги за яйца, попросит взять какую-нибудь ерунду, которую я забыла, носовые платки или кружку с надписью «Эль», или медаль, выданную мне при крещении, поди разбери. Во всяком случае, госпожа Командирша вернется не сразу. В кухне дремлет тетка – глаза открыты, руки сложены на животе. Я поднимаюсь вверх.

Открываю дверь в первую комнату, это как раз спальня мадам Зануды с огромной кроватью, покрытой периной. Сверзишься с нее – расшибешься насмерть. На стене в овальной рамке портрет покойного. Он стоит на пороге кухни – длинные висячие усы, ружье через плечо. Крепкий, красивый мужчина, но без возраста. Мне хочется плюнуть ему в рожу. Я по очереди открываю все ящики, стараясь ничего не сдвинуть. Она не хранит одежду покойного мужа. Золотого зажима нет нигде. Есть документы, фотографии всего семейства в большой коробке на шкафу, но в этот раз я не смогу посмотреть все как следует.

Потом иду в комнату тетки, где порядка поменьше. Тоже ничего не нахожу, разве что тут стоит старая изразцовая печка, и я лезу взглянуть, что внутри. Между задней стенкой и заслонкой, точно там же, в таком же тайнике, как и у

нас, я нащупываю какую-то бумагу. Это не похоже на конверт, в котором моя мать хранит деньги и на котором все расписано: даже час, число, месяц, год, когда она взяла три франка на шариковую ручку, которой и пишет. Это голубая папка, дети мастерят такие из картонных коробок из-под сахара. Я никогда не видела сразу столько денег. Внутри восемь тысяч франков в купюрах по пятьсот, и все новенькие. Кладу их на место. Потом иду в комнату Микки, потом в клетушку в конце коридора, где спит Бу-Бу. У них тоже нет этого золотого зажима, разве что один из них носит его при себе. В одном из ящиков у Бу-Бу нашла свою фотографию, вырезанную из газеты, когда я выиграла конкурс красоты в Сент-Этьен-де-Тине. Я ее целую и кладу на место.

Когда я спускаюсь, тетка смотрит на меня и говорит:

– Ты хорошая девочка.

Не знаю, с чего бы это. Спрашивает меня:

– Ты только что ела шоколад? Тебе его дала моя сестра?

Я киваю.

Она говорит:

– Я знала, что ты воровать не будешь.

И снова засыпает.

Потом иду в погреб, просто так, для очистки совести. Воняет прокисшим вином, слышу, как разбегаются какие-то твари. Смотреть нечего. Когда возвращается моя будущая свекровь, я, как паинька, сижу за кухонным столом, подперев голову руками, и смотрю по телику местные новости. Она ставит передо мной мою кружку с надписью «Эль», коробку с ампулами «Активарола»[31 - «Активарол» – пищевая добавка в виде жидкости. Улучшает состояние костей, соединительных тканей, стимулирует образование эритроцитов.], который я должна принимать перед едой, ну и, конечно же, кладет очки, которые я вообще не ношу. Говорит:

– А я-то не могла понять, почему, когда ты на что-то смотришь, у тебя такой вид, будто приножишься?

Она ничего не рассказывает об их разговоре с матерью, но мне плевать. Я совершенно спокойна, знаю, что мама никогда не скажет обо мне ничего плохого посторонним.

Потом наступает первое воскресенье, второе, третье, проходит целая вечность. Июнь. В воскресенье, священный день, Пинг-Понг уезжает с братьями. Утром я спускаюсь вниз в розовом бикини, с махровой простыней, на которой вышито «Эль», укладываюсь на солнце неподалеку от родника со стопкой допотопных журналов, найденных в сарае, флаконом крема для загара и ментоловыми сигаретами. Вообще-то я не курю, разве только чтобы кого-то позлить, и знаю, что мамашу Каргу это злит. Она волочит корзину с выстиранным бельем – развесить на просушку – и говорит мне:

– Ты что, воображаешь себя на пляже отеля «Негреско»? [32 - Отель «Негреско» – знаменитый отель класса «люкс» в бухте Ангелов на набережной Ниццы, символ Лазурного Берега. Он был открыт в 1913 г. и получил название по фамилии своего владельца, румына Анри Негреско.] Ты хоть для начала кровать свою убрала?

Когда она на меня не смотрит, я снимаю лифчик. Но не исключено, что она все время за мной наблюдает, поди разбери. Не то чтобы меня это как-то смущало, просто сейчас не время ей делиться своими впечатлениями с Пинг-Понгом.

К часу дня он возвращается наскоро перекусить, поговорить нам некогда. И я слоняюсь без дела весь оставшийся день. Раскладываю пасьянс на нашей кровати. Три раза переодеваю платья и смотрюсь в зеркало в шкафу. Приклеиваю накладные ногти и покрываю их лаком. Вспоминаю людей, с которыми была знакома. Мадемуазель Дье, школьная учительница из Брюске, деревни чуть выше Арама. Она говорила, что девочки, которые грызут ногти, обязательно трогают свои срамные места в постели. Это она хотела пристыдить меня перед всем классом. Я ей ответила, что с такой рожей, как у нее, она должна заниматься этим постоянно. Бац! Затрещина. Она ненавидела меня, вот в чем дело. Я была самая красивая в классе. Все это говорили. В четырнадцать лет и даже раньше у меня было все, что полагается, честно, я не вру. Трудно

даже представить, что она как-то раз со мной сотворила. Оставила меня в наказание после уроков, а сама стала на коленях умолять, чтобы я хорошо себя вела. А что сделала я в ответ? Облила ее чернилами «Ватерман» – лицо, платье, всю ее с ног до головы – ужас. У меня одной в классе были чернила. Отец подарил мне авторучку, чтобы я лучше училась. Полный кретин. В результате я потащила к ней домой как-то вечером, якобы чтобы вернуть книги после того, как меня исключили – такую, как я, не могли больше держать в школе. Она вся тряслась. Ей было лет двадцать шесть, а жизненного опыта, наверное, меньше, чем у самой подлой маленькой мерзавки из числа ее учениц. Да, задала я ей жару. Просто цирк! И если бы я тогда велела ей ползти на брюхе, она бы поползла и еще бы меня потом благодарила.

Или еще, конечно, вспоминаю другого придурка. Из-за ручки и вообще из-за всего. Застываю и целый час вообще не шевелюсь. Например, когда мы с ним гуляли по лугу, я была совсем маленькая, и он держал меня за руку. Лет пять мне было. Ничего не помню ни про этот день, ни про другие, которые мы с ним провели, только помню, как идем по лугу, мне весело, и повсюду желтые цветы. Когда час спустя наконец прихожу в себя – перед зеркалом у нас в комнате со щеткой для волос в руке, я говорю себе, нужно проветриться, с меня довольно. Иногда я забегаю к Мартине Брошар, и мы вдвоем спускаемся к реке и загораем нагишом. Или тащусь через всю деревню к нашему дому, но туда не захожу. Просто смотрю и думаю: интересно, дома ли моя безмозглая мамаша, что она сейчас делает, а потом иду обратно.

Бывает, останавливаюсь возле мастерской и стою на пороге. Пинг-Понг работает на пару с Генрихом Четвертым – собирают разобранный на куски трактор. Оба они потные и перепачканы маслом. Генрих Четвертый поворачивается, чтобы взглянуть, кто пришел, а я говорю:

– Хотела бы поговорить с Робером.

Он спокойно отвечает, даже не здороваясь:

– А кто здесь Робер?

Я указываю на Пинг-Понга, вообще-то он не Робер. Я вычитала в его письмах, что он Флоримон, и мамаша при мне так же его называет. Генрих Четвертый вздыхает и склоняется над мотором. Говорит:

– Ладно, на этот раз – так и быть, но не забудь, что час работы твоего Робера обходится мне недешево.

Пинг-Понг выходит ко мне на улицу и говорит:

– А что, он прав. Не ходи сюда в рабочее время.

Я стою, уставившись в пол, словно пытаюсь сдержать слезы, нежная, как цветок. Он говорит:

– Ну ладно, выкладывай, что там стряслось?

Я отвечаю, не поднимая глаз:

– Я хотела написать записку и оставить, чтобы тебе не мешать. Но я пишу с ошибками, боялась, что будешь надо мной смеяться.

Стоим до скончания века, потом он говорит:

– Я тоже делаю ошибки. А что ты хотела мне написать?

Совсем не волнуется, даже наоборот. Как обидно, что он сын своего папаши-подонка, а папаша этот явился на свет, чтобы я страдала, ну а я явилась на свет, чтобы теперь все они, как один, страдали еще сильнее. Я отвечаю:

– Твоя мать сказала, что ты меня долго не вытерпишь. Все так думают. А еще здесь, в деревне, плохо говорят о моих родителях, будто я стала бог знает кем. Вот так.

Он кладет руки в карманы, немного думает, потом говорит:

– Черт возьми!

А потом спрашивает:

– А кто конкретно плохо говорит о твоих родителях? Мало ему не покажется.

Я отвечаю:

- Да так, люди.

Вижу, он весь кипит из-за того, что я расстроена, но боится меня коснуться, потому что у него руки в масле. Он говорит:

- Послушай, я вовсе не такой, как твои бывшие.

Теперь слезы сами выступают у меня на глазах. Я отвечаю:

- Вот именно.

Разворачиваюсь, иду по обочине, а он меня догоняет. Не обращая внимания на масло, хватает меня за руку и говорит:

- Не уходи так!

Я останавливаюсь.

Он говорит:

- Не знаю еще, как у нас дальше будет. Но мне с тобой хорошо, и пошли они все подальше.

Я смотрю ему прямо в глаза, потом целую в щеку, так, чмокаю по-детски. Киваю, что верю ему, и ухожу. Слышу, как он говорит мне вслед:

- Я вернусь пораньше.

По крайней мере, я знаю, что меня ждет - точно такой же вечер, как предыдущие.

Когда по вечерам он приходит домой, ему хочется только одного - побыстрее оказаться со мной в комнате. Первое время мне приходилось пялиться в потолок

перед ужином, после ужина и еще раз утром – до работы. И весь день в своей зачуханной мастерской – это он сам говорит – он только и думает, как бы меня заставить снова этим заняться. Комната его мамы рядом с нашей, и ночью, когда я кричу, она стучит в стенку. Один раз Микки вышел в коридор, стал колотить нам в дверь с воплями:

– Сил никаких нет, совсем спать не даете!

Пинг-Понг зажимает мне рот рукой, когда у меня подступает, хотя чувствует, что меня душит, но, всяко, сам заводится, когда я ору. Больше всего Пинг-Понг мне нравится – и я даже почти готова его полюбить, – когда он во мне, кончает и умирает. А еще когда я раздеваюсь, а ему не терпится, он хватается меня за все места, словно боится, что двух рук для этого мало.

Я прекрасно помню все, что сказала мне старая гримза. Я знаю, что все это ненадолго, что пройдет какое-то время, он успокоится, как всегда, бывает, но пока я его держу именно этим. Я ложусь на спину, на живот, встаю на четвереньки. Наша соседка колотит в стенку как заводная. А потом наступает мой час, и в атаку иду я, так, из любопытства. Вот, например: субботний вечер, третий с тех пор, как я у них живу. Иду в город, в кинотеатр «Руаяль», с Микки, его Жоржеттой, Бу-Бу и одной отдыхающей, по-моему, жуткой уродиной, а сам Пинг-Понг стоит на посту в глубине зала во время первой половины сеанса в своей пожарной куртке и каске. В антракте я подхожу к нему и говорю:

– Запомни, это последний раз, что я здесь, а ты корчишь из себя этого клоуна. Мне вот хочется, чтобы ты сидел рядом во время фильма и трогал меня, когда на меня найдет.

Казалось, у него глаза вылезут из орбит. Он, как кретин, оглядывается по сторонам, не слышал ли кто, а я говорю:

– Мне что, погромче повторить, чтобы всем было слышно?

Он мотает головой, мол, пожалуйста, не надо, и отваливает на дикой скорости, держа в руках свою мерзкую каску.

Дома в комнате он мне говорит:

– Ты должна меня понять.

Все мужики-подонки хотят, чтобы их понимали.

– Я служу людям. Когда бывает пожар или несчастный случай, я вовсе не строю из себя клоуна, а выполняю свой служебный долг. И вообще-то не задаром, я получаю полные четыре сотни.

Я даже не отвечаю. Он заставляет меня сесть рядом с ним на кровать. Говорит:

– Проси, что угодно, только не это. Я не могу отказаться от своего дела. Не могу.

Я его мариную до скончания века, а потом говорю, отойдя в сторону:

– Я просто имела в виду, чтобы ты с кем-то поменялся на вечер субботы и был со мной, только и всего. Или я могу заменить тебя кем-то другим.

Я вижу его отражение в зеркальном шкафу, и он меня видит. Он опускает голову и шепчет:

– Хорошо.

Я подхожу к нему, он зажимает мои ноги коленями. Я расстегиваю платье сверху, чтобы он целовал меня так, как любит Эль. Потом он трахает ее на кровати энергичнее, чем обычно по ночам, и начинается такой стук в стенку, что впору разбудить глухую тетку.

Кажется, на следующий день, в третье воскресенье июня, мне надоело, что из меня выжимают соки всю неделю, и я поняла, что не выдержу. И пока Пинг-Понг еще спит, я спускаюсь во двор в своем халате. У ворот какие-то молодые люди что-то-то обсуждают Матерью Скорбящих. Я слышу, как она отвечает – орет так, будто говорит по телефону:

– Спрошу у сына, он у нас глава семьи!

Их четверо на белом «фольксвагене», разукрашенном всякими наклейками, плюс каноэ на крыше. Скоро они уезжают. Мамаша говорит мне:

- Туристы.

Когда она уходит на кухню, я пытаюсь наладить душ, который они установили между родником и сараем, и неожиданно меня окатывает холодной водой – волосы и халат – всю насквозь. Бу-Бу и Микки наблюдают за мной из окна. Микки ржет. Я знаю, что сейчас Вот-та должна была бы сделать, я прекрасно знаю. Но пока еще слишком рано. Или мне мешает что-то другое. Может, мое фото, вырезанное из газеты, поди разбери. Меня охватывает тоска, я все бросаю и иду наверх. Пока я одеваюсь, Пинг-Понг просыпается и говорит:

- Ты куда?

Я отвечаю:

- Иду навестить мать.

Он говорит:

- Мы же у нее обедаем сегодня?

Я говорю:

- Ладно, придешь попозже, а я пойду прямо сейчас.

Мчусь домой на всех парах, сердце колотится.

Она наверху с придурком, должна то ли побрить его, то ли переодеть, и я кричу в потолок:

- Ты спустишься или как? Мне нужно с тобой поговорить!

Она тут же спускается. Я стою и плачу, прижавшись к стене лбом и опираясь о нее руками. Он в своей комнате орет как помешанный. Она осторожно берет меня за плечи и ведет в погреб, как раньше, когда хотела спокойно со мной поговорить. Я говорю, рыдая:

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

В переводе В. Сирина (В. В. Набокова) название книги звучало как «Аня в Стране чудес». Берлин: Издательство «Гамаюн», 1923.

(Здесь и далее прим. переводчика)

2

Меркс Эдуард (Эдди) (р. 1945) – бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик, пятикратный победитель «Тур де Франс», трехкратный чемпион мира.

3

«Тур де Франс» – самая известная многодневная шоссейная велогонка, которую проводят во Франции более ста лет.

4

Коппи Фаусто – крупнейший итальянский велогонщик конца 1940-х гг. Одержал победу в 118 профессиональных и 20 любительских велогонках, два раза побеждал в «Тур де Франс».

5

Папиросная бумага Job – популярный бренд тонкой рисовой бумаги для сигарет, которую с 1838 г. производили в Перпиньяне в виде буклетов. Известность бумаге Job принесли рекламные плакаты, выполненные художником Альфонсом Мухой (1860–1939).

6

Динь-ле-Бен – город в Провансе, бальнеологический курорт. Население – 17,6 тыс. жителей.

7

Пинг-Понг – прозвище пожарного из популярного детского фильма.

8

Трезор Мариус (1950) – футболист, защитник, выступал за сборную Франции.

9

Принцип двойного сцепления – переключение автомобильной передачи под нагрузкой, то есть, когда обороты двигателя практически не сбрасывались, разработал в 1939 г. Адольф Кегресс. Этот прием стали использовать на гоночных треках, на отдельных машинах. Только в 1980 г. компания Porsche применила этот принцип на своих моделях.

10

«Делайе» (Delahaye) – французская автомобильная компания машин класса «люкс», основанная Э. Делайе в 1894 г. и просуществовавшая до 1954 г.

11

По курсу 1975 г. 200 франков соответствовали примерно 50 долларам.

12

Джерри Льюис (1926–2017) – американский актер, режиссер и писатель.

13

Игра слов: Эль (сокращенное от Элиана) звучит так же, как местоимение «она» (фр. elle).

14

«Житан» – одни из самых популярных и дешевых марок французских сигарет из черного табака и особой рисовой бумаги, которые славятся своей крепостью.

15

Альпийские стрелки (егери) – солдаты, специально обученные военным действиям в горных условиях. Эти отдельные альпийские части были впервые созданы в 1793 г. по требованию Конвента. Во Франции в конце 1960-х гг. насчитывалось несколько таких частей.

16

421 – популярная во Франции игра, в которую играют за стойкой бара вдвоем или втроем, используя три игральные кубика и 21 жетон. Проигравший покупает выпивку остальным игрокам.

17

Пастис – напиток на основе аниса и лакрицы, особенно популярный на юге Франции. Считается, что этот аперитив увеличивает аппетит и помогает пищеварению. Согласно традиции, пастис никогда не пьют в чистом виде. Его разводят ледяной водой в пропорции один к пяти или один к семи.

18

Баскские земли – территории традиционного расселения басков на границе Западной Франции и Северной Испании.

19

Марсельский морской пожарный батальон – пожарно-спасательное подразделение Военно-морского флота Франции, полностью состоит из военного персонала.

20

Кур-Бельзанс – улица в Марселе, аналогичная кварталу «красных фонарей» в Амстердаме.

21

Марсель Амон (р. 1929 г.) – известный французский певец и композитор, автор песен, особенно популярных в 1960–1970 гг.

22

Игра в шары, или петанк, популярна во Франции. Игроки двух команд по очереди бросают металлические шары так, чтобы их шар оказался рядом с маленьким деревянным шаром (кошонетом), за это начисляется одно очко. Можно задеть

кошонет или сбить шар соперника. Выигрывает та команда, шары которой в конце игры оказались ближе к деревянному шару, чем шары соперника. Игра продолжается до 13 очков.

23

Рами – карточная игра, цель которой – как можно скорее избавиться от своих карт, составляя из них различные комбинации. Побеждает тот, у кого первого не окажется на руках карт.

24

До 1562 г. начало нового года было принято отмечать 1 апреля. Затем папа Григорий XIII ввел для всех христиан григорианский календарь, согласно которому новый год отсчитывался от 1 января. Тех, кто противился нововведению и продолжал встречать Новый год 1 апреля, стали называть «апрельскими дураками» или «апрельскими рыбами», потому что в это время Солнце находится в созвездии Рыб. С тех пор в виде первоапрельской шутки французы подвешивают друг другу на спину бумажные рыбы.

25

Генрих IV родился в 1553 г. в По (историческая область Беарн, граничащая с Баскскими землями).

26

2CV – малолитражная машина (2 л. с.) марки «Ситроен», выпускавшаяся во Франции с 1948 по 1990 г.

27

Типичное блюдо во французских ресторанах середины XX в. – углубление в центре разрезанной пополам небольшой дыни заполняется портвейном.

28

Популярная французская фирма продажи одежды по каталогу Trois suisses (фр. «Три швейцарца»), существующая с 1932 г.

29

Наполеондор (фр. Napoleon d'or, букв. «золотой Наполеон»), или Наполеон, – золотая монета с профилем Наполеона Бонапарта 900-й пробы достоинством в 20 франков, которая выпускалась во Франции с 1803 по 1914 г.

30

«Мари-Клэр» – международный ежемесячный журнал для женщин, выходит во Франции с 1937 г., а с 1941 г. в Великобритании. В настоящее время печатается во многих странах и на многих языках.

31

«Активарол» – пищевая добавка в виде жидкости. Улучшает состояние костей, соединительных тканей, стимулирует образование эритроцитов.

32

Отель «Негреско» – знаменитый отель класса «люкс» в бухте Ангелов на набережной Ниццы, символ Лазурного Берега. Он был открыт в 1913 г. и получил название по фамилии своего владельца, румына Анри Негреско.

Купить: https://tellnovel.com/zhaprizo_sebast-yan/ubiystvennoe-let0

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)